

ЛЕВША ИЗБРАННОЕ



РУССКАЯ КУЛЬТУРА

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ

Николай Семёнович Лесков

Левша. Избранное

Серия «Русская культура»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74282696

Левша. Избранное / Лесков Н.С. [предисловие, комментарии Б.В.

Соколова]: Белый город; Москва; 2026

ISBN 978-5-00119-275-6

Аннотация

В сборник вошли лучшие произведения на православную тематику Н.С. Лескова, написанные в жанре сказа. Лесков сегодня справедливо считается одним из незаслуженно забытых русских классиков XIX века. Повесть «Левша» о русском мастере-умельце, подковавшем блоху и посрамившем английских мастеров, с момента своего выхода в свет в 1881 году вот уже 125 лет остается одним из самых любимых произведений русских читателей. Сказка «Час воли Божией» о короле Доброхоте и трех праведниках посвящена поискам истины и нравственного совершенствования. Другая сказка-притча «Маланья – голова баранья» – о жизни праведницы. Повесть «Очарованный странник» – о грешнике, ставшим патриотом и праведником. Рождественский рассказ «Запечатленный ангел» воплощает идею того, что «Ангел в душе живет, но запечатлен, а любовь освободит

его». Произведения Лескова заставляют задуматься о вечных ценностях и о том, правильно ли человек живет.

Содержание

Николай Лесков: недооцененный русский классик и «прозеванный гений»	7
Час воли Божией	52
Глава первая	52
Глава вторая	54
Глава третья	58
Глава четвертая	63
Глава пятая	68
Глава шестая	75
Глава седьмая	78
Глава восьмая	85
Глава девятая	89
Глава десятая	93
Маланья – голова баранья	96
Левша	105
Глава I	105
Глава II	109
Глава III	112
Глава IV	118
Глава V	123
Глава VI	125
Глава VII	127
Глава VIII	130

Глава IX	132
Глава X	134
Глава XI	137
Глава XII	139
Глава XIII	141
Глава XIV	144
Глава XV	146
Конец ознакомительного фрагмента.	149

Николай Лесков

Левша. Избранное

Серия «Русская культура»

Составитель и автор комментариев Б.В. Соколов

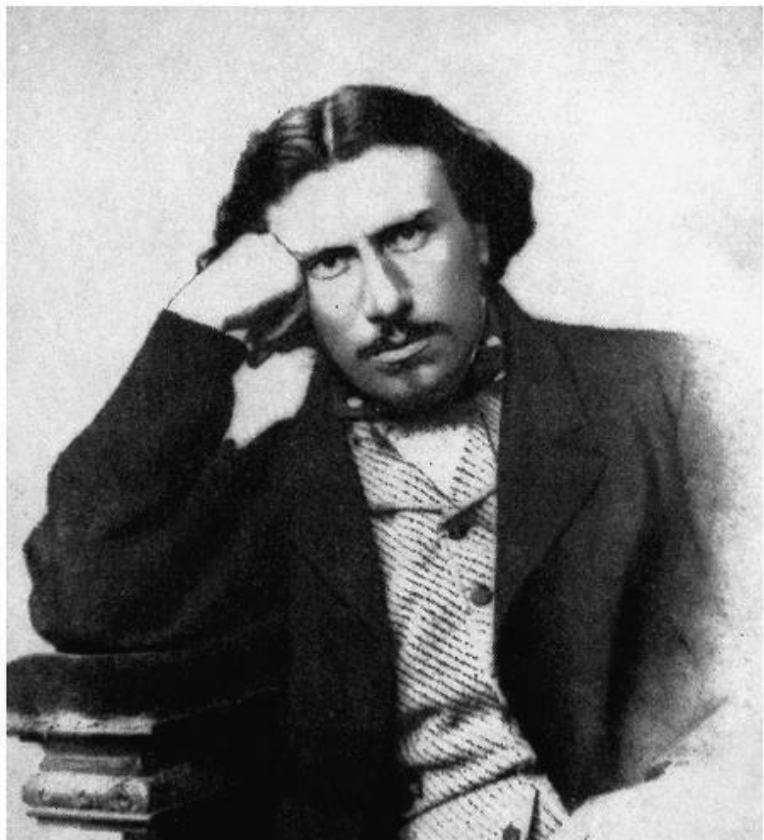
Издание выпущено при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



© ООО ТД «Белый город», издание, дизайн, макет, 2026

© Соколов Б.В., предисловие, комментарии, 2026

Николай Лесков: недооцененный русский классик и «прозеванный гений»



Николай Семёнович Лесков, которого иногда называют самым русским из русских писателей, родился 4(16) февраля 1831 года в селе Горохово (сейчас – Старое Горохово) Орловского уезда Орловской губернии. Его отец, Семён Дмитриевич Лесков (1789–1848), был сыном священника села Лески в Карачевском уезде Орловской губернии (ныне – в составе Бяковского сельского поселения в Навлинском районе Брянской области). От Лесков и пошла родовая фамилия. Сам Николай Семенович в Лесках никогда не бывал. По его словам, отец стал первым в роду, кто после окончания семинарии «ни за что не хотел надеть рясы, к которой всегда чувствовал неодолимое отвращение, хотя был человек очень хорошо богословски образованный и истинно религиозный». Семён Дмитриевич Лесков служил в дворянской опеке, а затем в Орловской уголовной палате, дослужился до чина коллежского асессора и благодаря этому стал потомственным дворянином. Он считался хорошим следователем, умевшим раскрывать самые сложные преступления. В 1839 году Семён Дмитриевич вышел в отставку в чине надворного советника. После отставки семья переехала в свое имение – село Панино недалеко от Кром, на доходы от которого теперь собирались жить.





Родители Н.С. Лескова – Марья Петровна Лескова (урожденная Алферьева) и Семён Дмитриевич Лесков

Мать писателя, Марья Петровна Лескова (урожденная Алферьева, 1813–1886), была дочерью небогатого московского дворянина. Она познакомилась с Семёном Дмитриевичем, когда семейство Арефьевых бежало из Москвы от нашествия Наполеона и остановилось в семье орловского уездного предводителя дворянства Михаила Андреевича Страхова, отдаленного родственника Лесковых. В семье Страховых отец писателя был домашним учителем.

Николай поступил в Орловскую гимназию, но учеба не задалась. В 1846 году, не сумев сдать выпускные экзамены за третий класс гимназии, в котором просидел два года, Лесков покинул гимназию. На этом его формальное образование завершилось, но самообразованием он занимался всю жизнь. В 1847 году Лесков поступил на службу в Орловскую палату уголовного суда канцеляристом второго разряда. В том же году его отец, который еще 16 лет назад получил чин коллежского асессора, наконец, подал прошение о причислении его рода к потомственному дворянству. Оно было удовлетворено только в 1848 году, незадолго до смерти Семёна Дмитриевича. В связи с причислением к дворянству Николай был произведен в канцеляристы первого разряда и его жалованье было удвоено до 72 рублей серебром в год.

27 сентября 1848 года Лесков был назначен помощни-

ком столоначальника Орловской палаты уголовного суда, а год спустя отправился в Киев, где стал служить в Киевской казенной палате, ведавшей губернскими финансами. Киевским губернатором тогда был миллионер, тайный советник Иван Иванович Фундуклей (1799–1880), грек по происхождению, щедро жертвовавший личные средства на нужды Киева и губернии, так что с финансами проблем не было. Фундуклею удалось сделать почти невозможное – за 13 лет его губернаторства (1839–1852) в Киевской губернии была ликвидирована коррупция, поскольку чиновники стали получать достойное содержание, а за взятки снимались с должности.

В Киеве Лесков жил у своего дяди, профессора медицины Сергея Петровича Алферьева (1816–1884). Николай Семенович посещал вольнослушателем в Киевском университете имени Св. Владимира лекции по медицине, сельскому хозяйству и статистике. В феврале 1850 года он был зачислен помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения Киевской казенной палаты, 11 июня был произведен в коллежские регистраторы (14-й класс), а 9 октября – назначен столоначальником Киевской казенной палаты. 7 июля 1855 года Лесков стал губернским секретарем (12-й класс). В Киеве он много читал и выучил украинский и польский языки.

6 апреля 1853 года Лесков обвенчался с дочерью киевского купца Ольгой Васильевной Смирновой (1829–1909). В

декабре 1854 года у них родился сын Дмитрий, который, к несчастью, прожил менее двух лет. А в марте 1856 года появилась на свет дочь Вера (1856–1918).

1 мая 1857 года Лесков получил четырехмесячный отпуск и отправился в село Райское Городищенского уезда Пензенской губернии на службу в коммерческую компанию «Шкотт и Вилькенс», которая принадлежала его дяде, шотландцу Александру Яковлевичу Шкотту (Скотту), мужу сестры матери, Александры Петровны Алферьевой (1811–1880). 30 октября 1857 года Николай Семенович был уволен из Киевской казенной палаты «по болезни». Поселившись в Райском, где размещалась штаб-квартира компании, он постоянно разъезжал в разные города по делам компании и, если употребить гоголевское выражение, «проездилися» по России, узнал народный быт и нравы.

Александр Шкотт начинал как управляющий крупных помещичьих имений и поставил дело настолько эффективно, что его годовое жалованье составляло 40 тыс. рублей в год – огромные по тем временам деньги. На них вместе с компаньоном он основал компанию «Шкотт и Вилькенс», которая занималась разного рода сельскохозяйственными работами по заказам помещиков. Лесков же работал контрагентом, принимая заказы на тот или иной вид работ по всей Европейской России.



Ольга Васильевна с дочерью жили в Райском, а Лесков был в постоянных разъездах. Он выступал за «органическое» развитие сельского хозяйства, промышленности, торговли, культуры и форм общежития в России на основе принципов свободного предпринимательства и без революционных потрясений.

Но дела компании пошли хуже в конце 1850-х годов, когда Император Александр II, начиная свои реформы, либерализовал торговлю, что вместо ожидавшего подъема привело к экономическому спаду. Количество заказов на работы резко уменьшилось. Шкотт разорился и в мае 1860 года вынужден был ликвидировать компанию «Шкотт и Вилькенс». Лесков с семьей вернулся в Киев.

Ещё будучи на службе в компании Шкотта, 9 апреля 1859 года Лесков опубликовал в «Московских ведомостях» свою первую заметку о борьбе крестьян с повышением цен на водку. В дальнейшем он регулярно публиковал статьи и очерки, прежде чем от журналистики перейти к художественной прозе.

15 сентября 1860 года Николай Семенович был принят на службу в канцелярию киевского генерал-губернатора (военного губернатора) генерал-лейтенанта князя Иллариона Илларионовича Васильчикова. Открывшиеся ему факты коррупции среди медиков Лесков осветил в заметках «Несколь-

ко слов о врачах рекрутских присутствий» и «Несколько слов о полицейских врачах в России» в «Современной медицине». Но уже 1 ноября последовал запрос министра внутренних дел действительного тайного советника Сергея Сергеевича Ланского киевскому военному губернатору с требованием прекратить злоупотребления врачей, а если «статья заключает в себе лишь одну клевету», подвергнуть взысканию ее автора и редактора газеты. 29 ноября Лесков, вынесший сор из избы, точнее из канцелярии военного губернатора, был уволен «по болезни».

Конфликты с цензурой и властями сопровождали всю журналистскую и писательскую карьеру Лескова. Он смело обличал общественные и частные пороки, но путь к их исправлению видел, в отличие от тех, кого называли «нигилистами», не в революции, а в нравственном совершенствовании.

В январе 1861 года писатель приехал в Петербург, где стал публиковаться в газете «Русская речь» и в журнале «Отечественные записки». А в 1862 году Лесков стал печататься в газете «Северная пчела». Здесь он впервые использовал псевдоним «М. Стебницкий», опубликовав рассказы «Разбойник» и «В тарантасе», а в журнале «Век» – рассказ «Погасшее дело». Под этим псевдонимом вышли многие художественные произведения Лескова.

Ольга Васильевна с дочерью остались в Киеве. Их отношения с Лесковым прекратились. В дополнение ко всем несча-

стям крупный киевский банк, в котором жена Лескова хранила деньги, доставшиеся в наследство от отца, обанкротился, и она потеряла почти все сбережения.

Горький писал о Лескове: «Он знал народ с детства; к тридцати годам объездил всю Великороссию, побывал в степных губерниях, долго жил на Украине – в области несколько иного быта, иной культуры, а пожить на чужой стороне – все равно что посмотреть на себя самого чужими глазами. Он взялся за труд писателя зрелым человеком, превосходно вооруженный не книжным, а подлинным знанием народной жизни. Он прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется “душою народа”». И это отразилось в художественных произведениях Лескова, жизненный опыт которого был богаче, чем у многих петербургских литераторов.

16–30 мая 1862 года в Петербурге произошли знаменитые пожары, запечатленные, в частности, в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» (1871–1872). Лесков посвятил им анонимную статью «Настоящие бедствия столицы», опубликованную в «Северной пчеле» 30 мая. Писатель дал скорбный перечень уничтоженного огненной стихией: «В несчастный день 28 мая... сгорел Апраксин двор, Толкучий рынок, Щукин двор, много капитальных домов частных владельцев, дом Министерства внутренних дел, Чернышев и Апраксин переулки и многие дома и деревянные дворы по левой стороне Фонтанки, Троицкий переулок от Пяти углов до Щербакова переулка, Щербаков переулок, барки и рыбные сад-

ки по Фонтанке». Здесь же он прокомментировал слухи о поджогах: «Равнодушие к слухам о поджогах и поджигателях может быть небезопасным для людей, которых могут счесть членами той корпорации, из среды которой, по народной молве, происходят поджоги... Насколько основательны все эти подозрения в народе и насколько уместны опасения, что поджоги имеют связь с последним мерзким и возмутительным воззванием, приглашающим к ниспровержению всего гражданского строя нашего общества, мы судить не смеем. Произнесение такого суда – дело такое страшное, что язык немеет и ужас охватывает душу... Но как бы то ни было, если бы и в самом деле петербургские пожары имели что-нибудь общее с безумными выходками политических демагогов, то они нисколько не представляются нам опасными для России, если петербургское начальство не упустит из виду всех средств, которыми оно может располагать в настоящую минуту. Одно из таких могущественнейших средств – общественная готовность содействовать прекращению пожаров». Здесь либеральная публика прочитывала намеки на поджигателей – студентов-революционеров, как раз в первой половине мая распространивших в Петербурге листовку «Молодая Россия», звавшую Русь «к топору». На самом деле пожары, скорее всего, не были вызваны искусственно, и Лесков отнюдь не настаивал на версии о чьем-то злом умысле, рассматривая ее лишь как одну из существующих. Выгорел торговый район Петербурга, сплошь деревянный, где продава-

ли также легковоспламеняющиеся товары. Распространению пожаров также способствовал сильный ветер. Власти озабочились охранительными мерами, хотя, как кажется, версию умышленных поджогов всерьез не рассматривали. Были закрыты на 8 месяцев либеральные журналы «Современник» и «Русское слово» и арестованы радикальные публицисты Дмитрий Иванович Писарев, Николай Гаврилович Чернышевский и др., но обвинение в поджогах так никому и не было предъявлено.

Лесков еще четырежды, также анонимно, возвращался к теме пожаров, утверждая, что редакция «Северной пчелы» вовсе не имела в виду обвинить студентов в поджогах. Приведя примеры их мужественного поведения на пожарах и помощи погорельцам, Лесков восклицал: «Это ли поджигатели? Нет, грешно, безбожно думать на студентов!»

Тем не менее, либеральная пресса обрушилась на статьи Лескова о пожарах (в журналистских кругах его авторство было достаточно известно), но нападала больше на редакцию, а не на него. А вот его критика действий пожарных вызвала недовольство властей. Чтобы замять скандал, редакция «Северной пчелы» 6 сентября 1862 года направила Лескова в длительную зарубежную командировку с целью выяснить преимущества строительства Белостокско-Пинской железной дороги. Писатель посетил Австро-Венгрию, побывал во Львове, Кракове и Праге, а из Праги отправился в Париж, где в конце ноября поселился в студенческом Латин-

ском квартале. В Париже Лесков написал свой первый большой рассказ «Овцебык». В очерках о своем путешествии он сделал следующее замечание о французских женщинах: «Француженка не создает в человеке той любви, при которой любимая женщина становится для нас душой и силой, и сама для себя никогда не поймет той любви, которая слезой немощного покаяния выливается поздней ночью пред одинокой лампадой супружеской спальни и которой никто не видит, которую еще ставят в укор».

В зарубежных очерках писатель критиковал нигилистов и поляков, но зато нашел доброе слово о чехах, заявив: «Самый милый и самый грамотный во всем славянстве народ, эти честные и работающие чехи во всем стоят выше польской цивилизации».

В марте 1863 года Лесков вернулся в Петербург. В апреле он подал министру народного просвещения тайному советнику Александру Васильевичу Головнину (1821–1886) записку с планом поездки по России для изучения школ старообрядцев, но получил отказ, мотивированный нехваткой средств. Тем не менее, министерство народного просвещения финансировало поездку Лескова в июле – августе 1863 года в Псков и Ригу для изучения старообрядческих начальных школ. По итогам поездки была составлена докладная записка «О раскольниках г. Риги, преимущественно в отношении к школам».

В 1863 году Лесков одним из первых опубликовал в

«Северной пчеле» рецензию на «нигилистический» роман Чернышевского «Что делать?». Она позволяет оценить и его собственные общественно-политические взгляды. Лесков писал, что программа Чернышевского – это «такое дело, которое можно сделать во всяком благоустроенном государстве, от Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого добрых людей, каких вывел г. Чернышевский, а их, признаться сказать, очень мало». Николай Семенович хвалил героев Чернышевского за то, что они «любят, женятся, сходятся и расходятся. Они сходятся по собственному влечению, без всяких гадких денежных расчетов: любят некоторое время друг друга, но потом, как это бывает, в одном из этих двух сердец загорается новая привязанность, и обету изменяют. Во всех бескорыстие, уважение к взаимным естественным правам, тихий верный ход своею дорогою... Такие люди очень нравятся мне, и я нахожу очень практичным делать в настоящее время то, что они делают в романе г. Чернышевского». События романа он явно проецировал на свою личную жизнь.

«Новым людям» Чернышевского Лесков явно симпатизировал и считал, что их «лучше бы назвать “хорошие люди”» и что они «не несут ни огня, ни меча. Они несут с собою образчик внутренней независимости и настоящей гармонии взаимных отношений. Они могут провалиться? Да, очень могут, но другие обойдут провал, пойдут, узнают, чего должно избегать и чего бояться. Тут нет беды, ибо все это вперед, вперед толкает. Люди растут».



Н.С. Лесков (стоит второй справа) среди сотрудников газеты «Северная пчела». Начало 1860-х гг.

Лескову были близки идеи нигилистов о гражданском браке, об естественном праве разойтись с нелюбимой женой, хотя бы и венчанной, и создать новую семью, пусть и не освященную церковным браком.

Осенью 1864 года Лесков опубликовал в «Библиотеке для чтения» повесть «Житие одной бабы», лейтмотив которой: «Эх, Русь моя, Русь родимая! Долго ждать тебе еще валандаться с твоей грязью да с нечистью? Не пора ли очнуться, оправиться? Не пора ли разжать кулак да за ум взяться?..

Полно друг дружке отбирать слезы кулаком да палкою. Полно друг дружку забивать да заколачивать!»

На протяжении 1864 года Лесков опубликовал в «Библиотеке для чтения» романа «Некуда». Публикация завершилась 11 января 1865 года. По мнению Горького, в этом романе, «среди толпы людей жалких и нечестных», Лесков нашел героя по душе себе, — это Райнер, идеалист, чудаковатый и несколько похожий на Рахметова в знаменитом романе Чернышевского “Что делать?”... Этот Райнер именует себя социалистом, открыто ведет революционную пропаганду в России и погибает, как герой, в бою, во время польского восстания 1863 года. Лесков окружил Райнера сиянием благородства и почти святости, но роман “Некуда” возбудил общее негодование, его сочли доносом на революционеров и единодушно обругали».

Много лет спустя Лесков рассуждал о «Некуда»: «Крайние пути, указанные Чернышевским и Герценом, были слишком большим скачком для молодого поколения, и я не ошибался, говоря, что это поколение и все общество не подготовлено к таким скачкам, что оно изменит себе, изренегатствуется, или просто опошлит всякое дело, за которое возьмется. Если исправнический писец мог один перепороть толпу беглых у меня с барок крестьян (в начале работы у Шкота Лесков участвовал в переводе крепостных покойного графа Льва Алексеевича Перовского из густонаселенных Орловской и Курской губерний в саратовские степи и Жигулев-

ские горы. На новое место крестьяне добирались по суше, а затем плыли на барках. — Б. С.), при ее собственном содействии, то куда идти с таким народом. “Некуда!” (Рахметов Чернышевского это должен был знать). Я не хочу сказать, что нигилисты дрянь, а наше общество — лучше; я так никогда не смотрел на дело, и мое “Некуда” в лучших его представителях говорит, что в обществе не было никаких идеалов и нигилисты должны были искать их на стороне.

Но Чернышевский должен был знать, что, восторжествуя его дело, наше общество тот час же на другой день выберет себе квартального! Неужели вы не чувствуете этого вкуса нашего общества?»

Отвечая на критику романа со стороны Писарева, Лесков заявил: «Мы не те литераторы, которые развивались в духе известных начал и строго приготавливались к литературному служению. Нам нечем похвалиться в прошлом: оно у нас было по большей части и мрачно, и безалаберно. Между нами почти нет людей, на которых бы лежал хоть слабый след благотворного влияния кружков Белинского, Станкевича, Кудрявцева или Грановского».

В июле 1864 года, гостя у родственников в Киеве, Лесков познакомился с Екатериной Степановной Бубновой, урожденной Савицкой (1838–1901). Вскоре они стали жить вместе. Бубнова была женщина красивая, образованная и увлеченная русской литературой. Незадолго до встречи с Лесковым она рассталась с мужем, богатым купцом, причем су-

мела учредить над ним опеку и получить средства на содержание себя и своих четверых детей. В дальнейшем основу бюджета Лескова и Бубновой составляли 3000 рублей годовой арендной платы, получаемые от арендаторов киевской недвижимости Екатерины Степановны.



Екатерина Степановна Бубнова, урожденная Савицкая

В феврале 1865 года в журнале «Эпоха» была опубликована повесть Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», одно из лучших его произведений. Здесь главная героиня, Катерина Измайлова, противопоставлена Катерине из «Грозы» Александра Островского как характер не только страстный, но и порочный.

В сентябре – декабре 1865 года в «Отечественных записках» появился лесковский роман «Обойденные», не вызвавший большой реакции. Здесь, как и в «Некуда», отрицательные персонажи были нигилистами.

12 июля 1866 года у Лескова и Бубновой родился сын Андрей (1866–1953), ставший впоследствии биографом отца.

В конце 1866 года Лесков опубликовал в «Отечественных записках» повесть «Островитяне» – романтическую историю двух немецких семей на Васильевском острове.

В 1869 году в «Биржевых ведомостях» появилась статья «Герои Отечественной войны по гр. Л.Н. Толстому», где Лесков утверждал, что в романе Толстого «нет утомительной или неловкой страницы и на всяком шагу попадаются сцены, чарующие своею прелестью, художественною правдою и простотою. Есть места, где простота эта достигает необычной торжественности, и, как на образчик красот подобного рода, мы позволим себе указать на описание предсмертных дней и самой кончины князя Андрея Болконского».

Ближе к полуночи 23 июля 1870 года, будучи с семейством в Ревеле, Лесков вместе со своим приятелем чинов-

ником А.И. Добровым вступил в потасовку в пивной с тремя местными немцами. Лесков утверждал, что они с Добровым заказали всего одну бутылку пива, а немцы стали их оскорблять, называя свиньями. Тогда Лесков вежливо обратился к немцам: «Господа, нам очень неприятно то, что вы говорите о русских, и мы вас честию просим прекратить этот разговор на время: мы сейчас уйдем». Но немцы закричали: «У вас нет чести!» Не очень понятно, как Лесков разговаривал с немцами, ведь он очень слабо владел немецким. Когда конфликтующие стороны оказались на улице, Добров сбил с одного из немцев шапку и убежал. Лесков тоже попытался бежать, но немцы его догнали и отняли трость. Приехавший квартальный надзиратель не позволил Лескову ехать вместе с ним в полицейское отделение. Тогда он сам вскочил в дрожки, но немцы его выволокли оттуда, вывернули руку и удерживали полчаса, а потомпустили.

С немецкой стороны инцидент выглядел совсем иначе. Русские явились в пивную в сильном подпитии, что, вероятно, соответствовало действительности, так как перед визитом в пивную Лесков и Добров изрядно употребили хереса у священника Михаила Иконникова. Лесков обругал немцев, ударил тростью местного чиновника Мейера, а затем оскорбил вызванного немцами квартального надзирателя, чем, вероятно, и объясняется нежелание последнего прихватить его с собой в участок.

Инцидент рассматривался Эстляндским губернским, а за-

тем сенатским судом. Лесков обвинялся в том, что ударил Мейера, оскорбил всех троих немцев и квартального. Процесс завершился только в декабре 1880 года. Суды приняли немецкую версию инцидента. Лесков был приговорен сначала к шести, а после пересмотра дела сенатским судом – к трем неделям гауптвахты. Неизвестно, отправили ли Лескова в действительности на гауптвахту. В ходе следствия он утверждал, что немцы в своем разговоре хвалили роман Тургенева «Лым», который Лесков считал антирусским. Немцы же утверждали, что говорили лишь об оценке Тургеневым «Фауста» Гёте.

В 1870–1871 годах Лесков опубликовал в «Русском вестнике», а затем выпустил отдельным изданием роман «На ножах», где нигилисты уподоблены уголовникам.

В 1872 году в «Русском вестнике» появилась лесковская роман-хроника «Соборяне», где положительным героям – протопопу Савелию Туберозову, дьякону Ахиллу Лесницыну и священнику Захарию Бенефактову противостоят разного рода нигилисты и мошенники. По словам Горького, «после злого романа “На ножах” литературное творчество Лескова сразу становится яркой живописью или, скорее, иконописью, – он начинает создавать для России иконостас ее святых и праведников». Справедливости ради надо отметить, что, прежде чем перейти к созданию праведников, писатель создал еще более злой, чем «Некуда», антинигилистический роман «На ножах», где для главных отрицательных героев

идеи нигилизма – лишь прикрытие для достижения своекорыстных целей – власти и богатства. Во время работы над этим романом Лесков писал А.С. Суворину: «Я не мщу нигилизму за клевету мерзавцев и даже не соединяю их воедино в моей голове. Я имею в виду одно: преследование поганой страсти приставать к направлениям, не имея их в душе своей, и паскудить все, к чему начнется это приставание. Нигилизм оказался в этом случае удобным в той же мере, как и “идеализм”, как и “богословие”, – в этом Вы правы».

СОБОРЯНЕ.



СТАРГОРОДСКАЯ ХРОНИКА.



Посвящается графу Алексѣю Константиновичу Толстому.



Н. ЛѢСКОВА.

(Стебницкаго.)



МОСКВА.

Въ Университетской типографіи (Катковъ и К^о.),

Титульный лист первого отдельного издания романа «Соборяне». 1872 г.

В январе 1873 года писатель опубликовал в «Русском вестнике» рождественский рассказ «Запечатленный ангел», смысл которого заключается в словах одного из персонажей, старца Памвы: «Ангел в душе живет, но запечатлен (т. е. запечатан. – Б.С.), а любовь освободит его». В октябре – ноябре того же года в «Русском мире» появилась повесть «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения». Летом 1872 года Лесков посетил остров Валаам и город Корелу, где жили монахи. Из бесед с монахами родился замысел истории о русском страннике-пленнике.

В начале 1874 года Лесков был назначен членом Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг, издаваемых для народа. В 1879 году, как член комитета, он подготовил доклад «О преподавании Закона Божия в народных школах». Поскольку в пятой части народных училищ дети вообще не изучали Закон Божий, Лесков предлагал разрешить преподавать его светским учителям под надзором священника, но предложение не было принято.

В июле 1874 года писатель начал публиковать в «Русском вестнике» роман-хронику «Захудалый род», реквием дворянству, но в октябре из-за разногласий с редактором М.Н. Катковым, недовольным критическим изображением

дворянства в романе, отказался писать третью часть «Захудалого рода». Весной 1875 года две части романа вышли отдельным изданием. Только в 1889 году, готовя «Захудалый род» к изданию в собрании сочинений, Лесков снял редактуру Каткова и дописал заключительную главу, где говорил о несовместимости высоких идеалов с жизненной практикой.

9 мая 1876 года Лесков выехал через Москву за границу и в конце мая прибыл в Париж. Он совершил паломничество к гроту Масабьель с целебным источником в окрестностях Лурда, где 14-летней местной жительнице Бернадетте Субиру, канонизированной как святая Бернадетта, в 1858 году было видение Девы Марии. Из Парижа в начале июля он выехал в Мариенбад для лечения на водах, потом посетил Прагу, 18 августа прибыл в Дрезден, а в конце августа вернулся в Петербург.

3 июня 1877 года Лесков был причислен к Министерству государственных имуществ «с оставлением на службе и по Министерству народного просвещения». Но жил он не на жалованье, а на литературные гонорары.

В начале августа 1877 года Николай Семенович окончательно разорвал отношения с Екатериной Бубновой. Их сын остался с Лесковым. Отец и сын переехали из доходного дома И.О. Рубана (Захарьевская улица, 3, кв. 19) в доходный дом И.С. Семёнова (Кузнечный переулок, 15). Екатерина Степановна очень тяжело переживала разлуку с сыном Андреем.

Разрыв произошел из-за того, что у обоих был тяжелый характер. И Екатерина Степановна, и Николай Семенович всегда стремились настоять на своем и не умели идти на компромиссы, что рано или поздно делало разрыв между ними неизбежным. Брат писателя, Василий Семенович Лесков, в дневниковой записи 26 февраля 1871 года отразил свои впечатления от посещения семьи брата: «Смотрю я, смотрю на сию... Катерину Степановну и никак не могу уяснить себе: что “оно” такое? По-своему добрая, довольно последовательная в том, что себе зарубит (упертая), и всячески бесполовая. Это тип малороссийской “жинки”, которая не боится своего “чоловика”. Особенно интересна она с своею манерой говорить “высоким слогом” и пускаться в рассуждения... Но тем не менее в ней есть стороны, которых нельзя не уважать: она прекрасная (по-своему) мать, хорошая и заботливая хозяйка, что тоже не вздор; и потом она очень правдива – пункт, в котором она сильно расходится с Николаем, который врет много и часто вовсе без нужды и цели. Я ставлю себя в ее положение и нахожу, что действительно ужасно любить человека, жить с ним и не быть уверенным в том, что вот то, что он рассказывает в данную минуту – правда или нет?» Позднее Лесков признавался, что всю жизнь любил только одну женщину – Екатерину Степановну.

Тем временем 16 марта 1878 года законная супруга Лескова Ольга Васильевна Смирнова была признана душевнобольной и помещена в петербургскую больницу Святого Ни-

колая Чудотворца, где она и провела последние 31 год своей жизни. В начале 1890-х годов дочь Вера, навестив мать, спросила, помнит ли она своего мужа Лескова.

Вере Николаевне так запомнилась ее реакция: «После явно больших усилий трудно работавшей мысли, всматриваясь куда-то полуприкрытыми глазами, она едва приподняла разверстые кисти восковых рук и, как бы доискиваясь чего-то в сумраке дальнего прошлого, чуть шевеля концами исхудавших пальцев в ритм отдельно слетавших с уст слов, без интонации прошептала: “Лесков?.. Лесков?.. Вижу... вижу... он черный... черный... черный...” Напряжение иссякло. Луч сник. Все замкнулось, погрузилось во вновь охватившее больной мозг безмыслие... Глаза закрывались... Больная утомленно умолкла...»

Осенью 1878 года Лесков опубликовал в газете «Новости» «Мелочи архиерейской жизни (Картинки с натуры)». В предисловии он писал: «Из моего житейского опыта я имел возможность не раз убеждаться, что наши владыки, и даже самые непосредственнейшие из них, по своим оригинальностям, отнюдь не так нечувствительны и недоступны воздействиям общества, как это представляют корреспонденты. Об этом я и хочу рассказать кое-что, в тех целях, чтобы отнять у некоторых обличений их очевидную односторонность, сваливающую непосредственно все дело на одних владык и не обращающих ни малейшего внимания на их положение и на отношение к ним самого общества. По моему мнению, наше

общество должно понести на себе самом хоть долю укоризн, адресуемых архиереям».

23 декабря 1880 года Лесков был уволен из Министерства государственных имуществ «согласно прошению». Скорее всего, увольнение было связано с обвинительным приговором сенатского суда по поводу инцидента в Ревеле. Лесков не был награжден новым чином, что было обычным делом при увольнении, при условии достаточной выслуги и «беспорочной службы», и так и остался коллежским секретарем. Не исключено, что увольнение «по собственному желанию» было условием непомещения Николая Семеновича на гауптвахту.

31 января 1881 года Лесков провожал гроб с телом Достоевского от его квартиры в Кузнечном переулке до Александро-Невской лавры.

В октябре 1881 года в газете «Русь» был опубликован «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» – одно из самых известных лесковских произведений, стилизованный под заводскую легенду.

В 1882 году к Лескову поступила новая горничная финика Екатерина Антоновна Кукк, или просто Кетти. С ней была четырехлетняя дочка Варя. Николай Семенович очень привязался и к матери, и дочери. Осенью Кетти съехала от Лескова, а Варя осталась. Николай Семенович дал ей фамилию Долина и определил в немецкую гимназию Святой Анны, одну из лучших в Петербурге.

В феврале 1883 года коллежский секретарь (чин 10-го класса) Лесков был уволен из Ученого комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг, издаваемых для народа, из-за «несовместимости» его литературных занятий со службой. Причиной увольнения стала публикация статьи Лескова «Поповская чехарда и приходская прихоть: Церковно-бытовые нравы и картины» в февральском номере «Исторического вестника», где говорилось о пьянстве и других прегрешениях православного духовенства XVIII и начала XIX века. Писать прошение об отставке Лесков отказался, и его уволили определением министра народного просвещения действительного тайного советника Ивана Давыдовича Делянова (1818–1897).

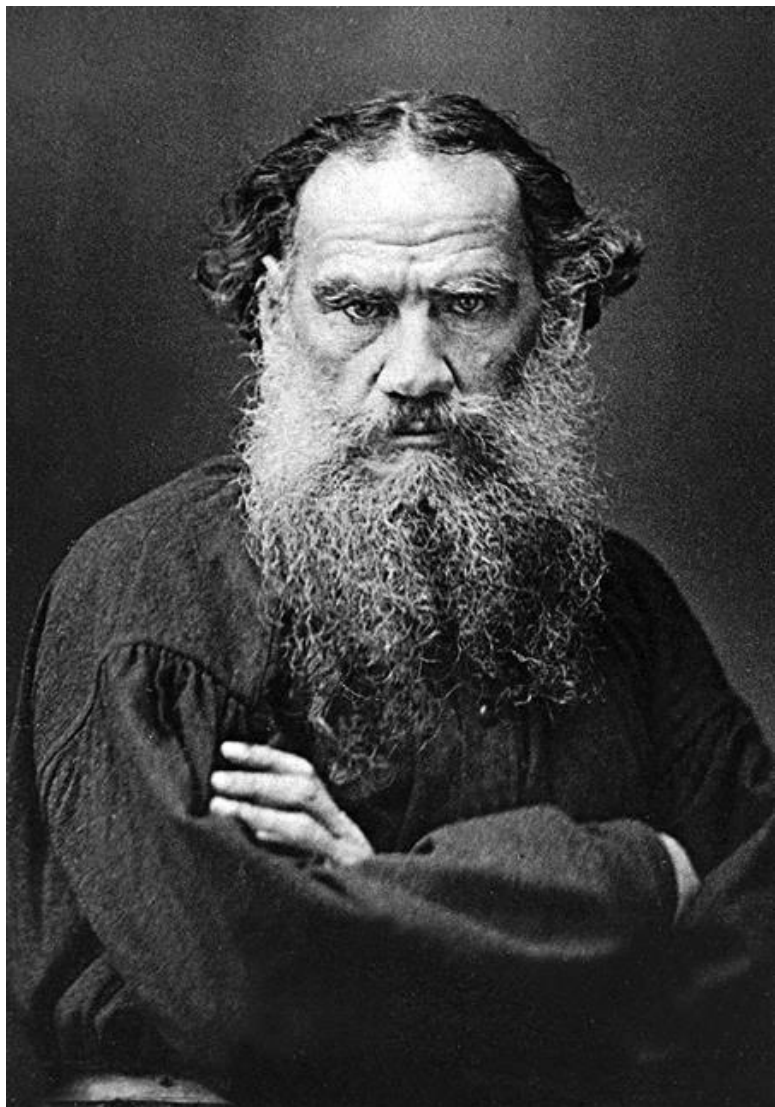
6 марта 1883 года в «Художественном журнале» был опубликован рассказ «Тупейный художник». А 10 марта было напечатано письмо Лескова в редакцию «Новостей и Биржевой газеты» об обстоятельствах своего увольнения из Министерства народного просвещения. Он писал: «Я отчислен от министерства “без прошения” по причинам, лежащим совершенно вне моей служебной деятельности, которая в течение десяти лет признавалась полезною и никогда не привлекла мне никакого упрека и ни одного замечания при трех министрах: графе Д.А. Толстом, А.А. Сабурове и бароне Николаи. Для оставления службы мне не вменено никакой вины, а указана только “несовместимость моих литературных занятий с службою”. Он также сообщил, что сам отверг предло-

жение уволиться “по прошению”».

В начале апреля 1883 года, рецензируя в «Биржевой газете» и «Новостях» книгу К.Н. Леонтьева «Граф Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как ересиархи. Религия страха и религия любви», Лесков отмечал, что «многую простоту предполагает г. Леонтьев в своих читателях и почитателях, но наипаче — напрасно он подымлет свои неискусные руки на таких людей, как Достоевский и особенно граф Лев Николаевич Толстой, христианские идеалы которого прелестны, чисты и, как сам он где-то признался, — освященные глубоким душевным страданием, доходившим у него “до разделения души с телом”».

31 мая 1884 года писатель опять отправился в Мариенбад через Дрезден, чтобы подлечиться от мучившей его астмы. На обратном пути он также посетил Прагу и Вену.

В апреле 1887 года Лесков познакомился в Москве с Львом Толстым. Под его влиянием, а также по совету врачей Николай Семенович стал вегетарианцем. Он вспоминал, как в детстве наблюдал, как охотник вынимал перепелов из мешка по одному и отрывал головы, а они ненадолго взлетали. По словам Лескова, «эта сцена произвела на меня удручающее впечатление. Мне казалось, что из шеи бедных птиц брызжет не кровь, а сама жизнь. С тех пор учение вегетарианцев, казавшееся мне прежде смешным, представилось мне в совершенно новом освещении».



Л.Н. Толстой в 1885 г.

Под влиянием Толстого Лесков также стал критически относиться к православию, что отразилось в его произведениях последних лет. Впрочем, и ранее он достаточно критически высказывался о священнослужителях. Чехов, называвший Лескова своим любимым писателем, говорил о нем: «Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу».

В 1889 году издатель А.С. Суворин начал издавать собрание сочинений Лескова в 10 томах, но 6-й том, в котором были собраны очерки о духовенстве, в том же году был арестован цензурой, что вызвало первый приступ стенокардии у писателя. Издать 6-й том удалось только в 1893 году, уже после выхода 10-го. В 1893 и 1896 годах были изданы два дополнительных тома – 11-й и 12-й.

В 1892 году Лесков опубликовал в журнале «Русское обозрение» цикл «Легендарные характеры» – 33 подобранные из Пролога (сборника кратких житий святых, назидательных повестей и поучений Святых Отцов, расположенных по датам церковного календаря) истории о женщинах, включающие примеры святости и греха. По прочтении цикла Чехов писал А.С. Суворину: «Прочел “Легендарные характеры” Лескова. Божественно и пикантно. Соединение добродетели, благочестия и блуда. Но очень интересно».

Известный еврейский историк, публицист и обществен-

ный деятель Семен Маркович Дубнов (1860–1941) вспоминал свое посещение петербургской квартиры Лескова: «При всем своем вольнодумстве, Лесков с особенною нежностью говорил о культе икон и о ликах святых, изображения которых висели у него на стенах».

В начале 1895 года журналы «Русская мысль» и «Вестник Европы» отказались печатать лесковскую повесть «Заячий ремиз» из-за острой критики полицейской системы, опасаясь последующих репрессий. Эти журналы выходили без предварительной цензуры, и в случае, если бы публикация была признана впоследствии предосудительной, могли подвергнуться штрафу или закрытию. Повесть была опубликована только в 1917 году.

12 февраля 1895 года, в «прощеное воскресенье», по свидетельству Андрея Николаевича Лескова, «около полудня горничная доложила Лескову, что просит его принять некий Филиппов. Не представляя себе, кто такой пришел, Лесков говорит: “Просите”, – и поднимается навстречу загадочному гостю. В открытых дверях, не решаясь переступить порог, недвижимо стоит злейший его враг и ревностный гонитель (Лесков полагал, что действительный тайный советник Третий Иванович Филиппов (1826–1899) способствовал его увольнению из Ученого комитета Министерства народного просвещения. – Б.С.), государственный контролер в министерском ранге, “Третий” Филиппов. “Я, – взволнованно рассказывал мне отец, – тоже остановился посреди ком-

наты. – Вы меня примете, Николай Семенович? – спросил Филиппов. – Я принимаю всех, имеющих нужду говорить со мною.

– Перечитал я вас всего начисто, передумал многое и пришел просить, если в силах, простить меня за все сделанное вам зло.

И с этим, можешь себе представить, опускается передо мною на колени и снова говорит:

– Просить так просить: простите!

Как тут было не растеряться? А он стоит, вот где ты, на ковре, на коленях. Не поднимать же мне его по-царски. Опустился и я, чтобы сравнять положение. Так и стоим друг перед другом, два старика. А потом вдруг обнялись и расплакались... Может, это и смешно вышло, да ведь смешное часто и трогательно бывает”.

– А какое сегодня воскресенье? – спросил я.

– Думаешь, византизм, лицемерие? Может, и так, а все-таки лучше помириться, чем продолжать злобиться, – сказал отец и стал рассказывать то, что неплохо сберег, видимо, сряду сделанною записью Фаресов (Анатолий Иванович Фаресов (1852–1928), (бывший революционер-народник, биограф Лескова. – Б.С.): “Против нас на столе у меня стояли портреты Гладстона, Л. Толстого, Ларвина и снимки с картин Н.Н. Ге. Ведь ему все они противны! И вдруг я почувствовал, что хоть опять становись на колени; что вот сейчас нам не о чем будет говорить. За последние годы мы ушли в

разные стороны так далеко, что не сумеем вернуться даже ко дню смерти. Я вспомнил, что он интересовался когда-то соборным делом в церковных вопросах, и мы разговорились. Наконец добрались и до литературы... Говорю я так с ним о литературе и чувствую, что скоро уже и не о чем будет говорить... Не много нам жить остается, а говорить не о чем... Грустно! Оживлялся я, когда вспоминал, что ведь другие и этого не сделают: не придут мириться ко мне. Врагов у меня всюду много, а вот только один понял меня и пришел утешить. Много ли даже в литературе-то найдется лиц, перечитывающих меня в настоящее время, чтобы судить более правильно обо мне и прийти ко мне с миром? Много ли? А ведь меня спустым. – А.Л.> мешком по голове не били, и не хуже я этих других в русской литературе... Вот так мы с Тертием Ивановичем много касались понемногу... Он даже выразил надежду видеть меня у себя.

– Я никуда не хожу, – отвечал я. – Подыматься тяжело по лестнице.

– О, я невысоко живу. Несколько ступеней.

– Да нет... Вообще вы живете для меня высоко!

Мой гость засмеялся и не обиделся на мою откровенность. Я очень взволнован его визитом и рад. По крайней мере кланяться будем на том свете».

18 февраля 1895 года Лесков в мороз совершил прогулку на санях вокруг Таврического сада, что вызвало обострение простуды и астмы. 21 февраля в 1 час 20 минут Нико-

лай Семенович скончался во сне в здании Общины сестер милосердия (Фурштатская улица, 50, кв. 8) и был похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища. Николай Семенович завещал: «Места погребения для себя не выбираю, так как это в моих глазах безразлично, но прошу никого и никогда не ставить на моей могиле никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста. Если крест этот обветшает и найдется человек, который захочет заменить его новым, пусть он это сделает и примет мою признательность за память. Если же такого доброхота не будет, значит, и прошло время помнить о моей могиле».

* * *

Сам Лесков утверждал: «Сила моего таланта в положительных типах. Я дал читателю положительные типы русских людей». Его нельзя было с определенностью отнести ни к либералам, ни к консерваторам, и очень часто Лескова критиковали как слева, так и справа.

По точному замечанию Б.М. Эйхенбаума, «служение литературе в “интеллигентском” смысле слова, как это было у “людей сороковых годов”, для Лескова было понятием чуждым. Он – совсем не типичный русский интеллигент; он профессионал-артист, влюбленный в свое литературное дело, и именно поэтому так трудно было ему понять обрушившуюся на него критику 60-х годов, а критике этой, на-

сквозь идеологической, не менее трудно было понять и примириться с этим чрезмерно бойким и задорным, чрезмерно игривым, чрезмерно речевым писателем – тем более что он, раздраженный и нетерпеливый, делал ошибку за ошибкой». К ошибкам Лескова советская критика, по идеологическим причинам, причисляла не только «пожарную статью», но и его романы – «антинигилистические» «Некуда» и «На ножах». Зато, по словам того же Эйхенбаума, «с “Божедомов” (будущие “Соборяне”) и “Плодомасовских карликов” начинается новый Лесков: Лесков хроник, сказов и “рассказов кстати”, Лесков – мозаист, стилизатор и антиквар».

Сам Лесков отрицал наличие в своих произведениях какой-либо идеологии и политической тенденциозности: «Я ни к чему не тянул. Я только или описывал виденное и слышанное, или же развивал характеры, взятые из действительности. Я даже действовал во вред той тенденции, которую мне приписывают».

Николай Семенович так объяснял своеобразие своего языка: «Ведь я собирал его много лет по словечкам, по половицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и в монастырях... Я внимательно и много лет прислушивался к выговору и произношению русских людей на разных ступенях их социального положения; они все говорят у меня по-своему, а не по-литературному».

Лесков признавался: «Постановка голоса у писателя за-

ключается в умении овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться с альтов на басы. В себе я старался развивать это умение и достиг, кажется, того, что мои священники говорят по-духовному, нигилисты – по-нигилистически, мужики – по-мужицки, выскочки из них и скоморохи с выкрутасами и т. д. От себя самого я говорю языком старинных сказок и церковно-народным в чисто литературной речи. Меня сейчас поэтому и узнаешь в каждой статье, хотя бы я и не подписывался под ней. Это меня радует. Говорят, что меня читать весело. Это оттого, что все мы: и мои герои и сам я, имеем свой собственный голос. Он поставлен в каждом из нас правильно или, по крайней мере, старательно. Когда я пишу, я боюсь сбиться: поэтому мои мещане говорят по-мещански, а шепеляво-картавые аристократы – по-своему. Вот это – постановка дарования в писателе. А разработка его не только дело таланта, но и огромного труда. Человек живет словами, и надо знать, в какие моменты психологической жизни у кого из нас какие найдутся слова. Изучить речи каждого представителя многочисленных социальных и личных положений довольно трудно. Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош». В таких произведениях, как «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «Левша», и ряде других Лесков ведет повествование от лица рассказчиков из простонародья. Пи-

сатель подчеркивал: «"Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош". В рассказах "Маланья – голова баранья", "Час воли Божьей" и др. присутствует живая народная лексика и местные фразеологические обороты. Недаром Лев Толстой говорил Горькому о Лескове: "Язык он знал чудесно, до фокусов"».

Логика повествования определяется не хронологией событий, а воспоминаниями и ассоциациями рассказчика. Писатель считал, что традиционный роман XIX века следует заменить подобным ассоциативным повествованием. Поэтому во многих его произведениях нет сюжета в привычном его понимании.

В повести «Блуждающие огоньки» («Детские годы») (1874) Лесков рассуждал: «Истории, подобные моей, по частям встречаются во множестве современных романов – и я, может быть, в значении интереса новизны, не расскажу ничего такого нового, что бы не знал или далее не видел читатель, но я буду все это рассказывать не так, как рассказывается в романах – и это, мне кажется, может составить некоторый интерес и даже, пожалуй, новость, и даже назидание. Я не стану усекать одних и раздувать значение других событий; меня к этому не вынуждает искусственная и неестественная форма романа, требующая закругления фабулы и сосредоточения всего около главного центра».

Горький признавался: «Лесков несомненно влиял на меня поразительным знанием и богатством языка. Это вообще отличный писатель и тонкий знаток русского быта, писатель, все еще не оцененный по заслугам перед нашей литературой».

Прав был Б.М. Эйхенбаум, когда утверждал в 1918 году: «Прирожденным сказителем, до сих пор не оцененным, был и Лесков. Романы ему не давались, а такие вещи, как “Запечатленный ангел” и “На краю света”, – образцы высокого словесного художества. И опять характерно: и то, и другое передается, как действительный устный рассказ определенных лиц». Ав 1920 году тот же критик указал на актуальность лесковского опыта для новой литературы, возникшей после революции: «Лесков – сказитель, знаток древнерусских житий, прологов и легенд, не столько бытописатель и психолог, сколько рассказчик и стилизатор (“Запечатленный ангел”), оказавшийся в свое время глубоко несовременным, является теперь одним из главных вдохновителей и учителей новой школы».

И действительно, когда сегодня говорят о Лескове, то вспоминают не его романы, а прежде всего его повести и рассказы, многие из которых написаны в сказовой манере: «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Левша», «Леди Макбет Мценского уезда», «Житие одной бабы», «Тупейный художник», цикл «Праведники» и др. Романы, которые по требованиям того времени должны были

быть «идеологическими», ему не очень удавались. Язык для него значил больше идеологии. Да еще, наверное, сказалось, неумение Лескова писать психологическую прозу, в чем он уступал и Достоевскому, и Льву Толстому. По словам Эйхенбаума, «наиболее типичный для него (Лескова. – Б.С.) жанр – хроника, построенная по принципу нанизывания ряда приключений и происшествий на героя, который сам и рассказывает о них любопытствующим слушателям ("Очарованный странник", "Смех и горе", "Заячий ремиз" и др.): нечто вроде старинных авантюрных романов, еще не имеющих сквозной фабулы. Основной элемент этого жанра, анекдот (большей частью – языковой), есть своего рода атом в природе лесковского творчества. Его присутствие и действие чувствуется повсюду».

Лесков признавал литературу в первую очередь как род ремесла, а себя – как высококвалифицированного ремесленника. Поэтому, по словам Б.М. Эйхенбаума, «он – кустарь-одиночка, погруженный в свое писательское ремесло и знающий все секреты словесной мозаики. Отсюда – его гордость и обида на идеологов. Поза обиженного, но гордого писателя была у него позой не столько вынужденной, сколько им самим выбранной и характерной. Ею он оборонял свое право на художество». Сам Лесков признавался в 1884 году: «У меня есть наблюдательность и, может быть, есть некоторая способность анализировать чувства и побуждения, но у меня мало фантазии. Я выдумываю тяжело и трудно, и потому я всегда

нуждался в живых лицах, которые могли меня заинтересовать своим духовным содержанием. Они мною овладевали, и я старался воплощать их в рассказах, в основу которых тоже весьма часто клал действительное событие. Так почти написано все, а по преимуществу роман “Некуда”, в котором, однако, критики упорно желают видеть тенденциозность».

Лескову повезло с экранизациями его произведений. Их к настоящему времени насчитывается не менее 22. Перечислим наиболее заметные из них: «На ножах» (1915) режиссера Александра Пантелеева, на основе одноименного романа, первая известная экранизация произведений Лескова; «Сибирская леди Макбет» (пол. Powiatowa lady Makbet; серб. Sibirska Ledi Magbet) (1962) польского режиссера Анджея Вайды, снятый в Югославии, на основе «Леди Макбет Мценского уезда и одноименной оперы Д.Д. Шостаковича, впервые поставленной в 1934 году; мультфильм «Левша» (1964) режиссера Ивана Иванова-Вано по одноименной повести; «Катерина Измайлова» (1966) режиссера Михаила Шапиро – экранизация оперы Д.Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», 2-я редакция которой (1962) называлась «Катерина Измайлова»; «Драма из старинной жизни» (1972) режиссера Ильи Авербаха по рассказу «Тупейный художник»; «Левша» (1986) режиссера Сергея Овчарова; «Леди Макбет Мценского уезда» (1989) режиссера Романа Балаяна; «Очарованный странник» (1990) режиссера Ирины Поплавской на основе одноименной повести; «Леди

Макбет Мценского уезда» (нем. Lady Macbeth von Mzensk) (1992) чешского режиссера Петра Вейгла, экранизация оперы Д.Д. Шостаковича, снятая в Германии; «Подмосковные вечера» (1994) режиссёра Валерия Тодоровского, экранизация «Леди Макбет Мценского уезда», действие которой перенесено в 1990-е годы; мини-сериал «На ножах» (1998) режиссера Александра Орлова на основе одноименного романа; «Жила-была одна баба» (фильм 2011, сериал 2014) режиссера Андрея Смирнова на основе повести «Житие одной бабы», действие перенесено в начало XX века и завершается Тамбовским восстанием 1921 года; «Леди Макбет» (англ. Lady Macbeth) (2016) британского режиссера Уильяма Олройда на основе «Леди Макбет Мценского уезда», действие перенесено в викторианскую Англию XIX века; «Левша» (2025) режиссера Владимира Беседина, действие перенесено в начало 1890-х годов.

В биографическом очерке использованы материалы книги: *Кучерская М.А.* Лесков: Прозёванный гений / Майя Кучерская. 2-е изд., испр. М.: Молодая гвардия, 2021.

Приношу мою искреннюю благодарность Александру Георгиевичу Коваленко, взявшего на себя труд отрецензировать данное издание.

Борис Соколов

Час воли Божией

(Сказка)

Глава первая

В очень древние годы, стародавние, был в некотором незнатном царстве премудрый король, по имени Доброхот. Величали его так за то, что он не любил воевать, а всем людям добра хотел. Жить он любил по-старинному и управлял своим королевством с большим благочестием, по всем памятям, по отцовским и дедовским, и из всех сил хлопотал и заботился, чтобы в его земле правда над кривою верх взяла и всем людям хорошо было у него под державою, но только все это дело у него не спорилось. Только что начнет Доброхот с одного конца свое дело налаживать, как – глядит – оно у него на другом конце расплетается. Долго бился Доброхот всяким родом и способом и умаялся в хлопотах до семи потов, а успеха ему все-таки нет как нет. И потерял, наконец, Доброхот всякую надежду устроиться, и взяло его от этого такое горе и отчаяние, что не стали его веселить ни скоморошьи потехи, ни пляски, ни женины ласки умильные; опостытели ему звериные ловы, и птичья охота наскучила. Стал король вянуть и к гробу посунулся.

Заметила это жена Доброхота премудрого – Милолика, королева прекрасная, и начала его обнимать и просить с нежностью, чтоб он пожалел себя, и ее, и своих малых детушек и не трудил бы себя долгой тяжелой заботой, а созвал бы скорее со всего королевства самых сановитых бояр и велел бы им всю премудрость обдумать в большой думе засветло и подать себе пред сумерки все дело чистое – на ладошечке.

Глава вторая

Король Доброхот в сей последний раз нежных ласок своей прекрасной королевы Милолики послушался и созвал своих думных бояр со всей земли и начал у них спрашивать:

– Все ли у нас под моею державой идет так, как следует? Советчики отвечали:

– С нашей руки видать, будто идет у нас все как следует. Будь только ты у нас многолетне здрав, а для нас ничего окромя сего и не надобно.

– Если все вы не врете, то, пожалуй, быть может и вправду так, – отвечал король. – Хорошо, молодцы, я для вас постараюсь подольше жить, а только мне то огорчительно, отчего у меня под державою не все так, как я хочу: для чего у нас есть холодные и голодные и отчего не для всех равно все спорится и ладится?

А бояре Доброхоту ответили:

– Что тебе этим пустым делом тревожиться! Не прогневайся, посмотри вокруг, ведь оно и по всей земле повсеместно так – не у нас одних все хорошее не спорится, не ладится!

– Ну, пускай повсеместно так, – отвечал король, – а мне это не нравится, я хочу у себя это вывести. Учредимте пример на целый свет, чтоб от нас всем людям хорошо стало. Я затем вас к себе и потребовал, чтобы вы мне скорей это дело обдумали. Подите-ка сядьте честь честью в большой сборне

вдоль лавок за стол да не спите, поклад друг другу головы на плечи, и обо всем мне до сумерек обдумайте накрепко, а сутемень¹ придите и выложите.

Советчики засели совет держать и кой час поспали, а после, проснувшись, все между собою заспорили: одни стали говорить, будто всем хорошо было только в старину стародавнюю; а для того и теперь будто надо опять из могилы на свет старину поднять и начать жить всем по-старинному, как было в прошлое время, при дедах и при прадедах, когда будто бы снег горел, а соломой тушили. А другие стояли за то, что и в ту старину стародавнюю тоже не всем подряд равно хорошо было; а что станет, мол, для всех поравней и порадостней только в будущем. А потому не надо-де нонешним днем очень сильно печалиться и заниматься до устали: нонче, мол, как ни прожить – это все равно, – хоть и пострадать, так не важно стать: наш народишко терпеливый, выносливый – ему уж не первый снег стелет головы, и ему ничего от беды не подеется; а надо нам половчей учредиться на предбудущее, чтобы в веки веков было наше имя прославлено.

Провели в этих речах все время засветло, а в сумерки встали с мест, запахнулись и принесли сутемень свои суды к королю в терем и все готовьем пред ним и выложили.

Слушал долго король все разводы советчиков, и все их слова ему не понравились: покачал он на них головой и прогнал их всех ко своим дворам на полатях спать, а сам еще в

¹ Су́темень – до темноты.

два раза смутней закручинился.

— Мне, — говорит, — от этого их совета совсем нет ни ко-
рысти, ни радости, и сказали они несуразное: потому что не
я дам Богу ответ за то время, когда меня не было, и не отвечу
я и за то, что после меня в свете станется. А я хочу знать,
как я сам теперь должен державствовать, чтобы сейчас всем
людям стало полегостней; а вот это-то у меня как раз и не
спорится, не ладится.

И начал король один в сумерках по палате из угла в угол
ходить, и как до угла дойдет да повернется, то вздохнет глу-
боко из всей груди, так что везде слышать, во всем тереме.

Тогда подошла к нему тихо в потемочках старая его мам-
ка, чуждянка, из чужих земель полоненая, и говорит ему по-
просту:

— Ты чего, мое дитятко, все вздыхаешь да охаешь? Ты ведь
сам виноват — для чего ты задумал искать на бедную долю
совета и разума у своих у бояр и советчиков. Им ведь только
и дело — особиться, а до общих забот им и нужды нет, потому
что все они только себе добра хотят, а ты повели привести
к себе старцев Божьих, пустынночков, таких, которым уже
свет не мил и земля им давно опостылела. Вот ты их спро-
си, — им врать нечего, им уже ничего в этом свете не надоб-
но, — так они тебе, может быть, правду и выскажут.

Королю это слово понравилось.

— Хорошо, — он сказал, — я тебя очень послушать рад, но
только где же могу я таких Божьих людей достать?

А старуха отвечает:

– Ты об этом не крушися ни малости: слово сказано, что три праведных в каждом царстве есть и у нас они, милый, водятся. Вот мне помнится, что слыхала я про трех угодных пустынников, которые стоят уже много лет на одних местах, и от всего земного они уж давно отстоялися, а теперь только в то живут, что втроем в один голос за твое царство молятся. Если хочешь ты, чтобы всю правду знать, то скажу тебе, не прогневайся: может быть, только по их молитвам до сих пор Господь Бог твое царство и милует.

– Хорошо, – отвечал король, – я сейчас хочу видеть этих угодничков.

– Вот таков же и мой совет: пошли, чтобы их сыскать и привести сюда с бережью, и спроси у них сам, отчего у тебя ничто не спорится, не ладится: им все явлено, и они тебе всю правду, как солнышко, на ладоночку выложат.

Глава третья

Король Доброхот совета своей мамки послушался и повелел поставить для него при пути стул со спинкою, да и сел на него рано утречком, чтобы видеть людей, когда они в город идут, да у всех у калек перехожих стал спрашивать: не видали ли где трех пустынных, которые отбыли все земное, что им было назначено, а теперь только в то и живут, что за одно его царство Господу молятся и через те их молитвы священные держава его выше всех на земле стоит.

Калики перехожие, те, что все чудеса в свете Божиим видели, рассказали королю, что такие праведные пустыннички точно есть, но процвели они не в одном месте, а стоят они уже много лет, все порознь спасаются. Один, тот, что постарше всех, просиял в самом диком тесном лесу, где он стал давно на дубу на макушечке, а теперь тот дуб уже высоко возрос и уперся в поднебесье, и старца и солнце жжет, и буйные ветры бьют; этот называется старик Дубовик, а веку ему давно лет за тысячу. Другой старичок – этому средний брат – процвел в безбережной степи посреди ковыля, где и журавли, и драхвы² с головами хоронятся и верхового латника с копьем вместе не видно; там закопал себя старичок в землю по пояс и терпит, как его гложет сыпучий червь, а сам кушает только козявочек, которые сами ему в рот вползут; и этот пустын-

² Драхвы – птицы дрофы.

ник называется старик Полевик, а веку ему пятьсот годов. Третий же старичок – этим обоим самый младший брат – потопил себя по самую шею посреди невылазных рамедных³ болот и живет там с лягушками, с змеями, а в лицо его жалит песья муха, и пискун-комар давно из него уже и кровь всю выпил, а старик все стоит, не шевелится; имя ему – Воловик, а век его – триста лет без единого. И все эти дивные старцы теперь уже чуть живы, так что надо их брать с большой опаской и бережью, потому что от самого малого встрясу все они могут рассыпаться.

И дали калеки Доброхоту совет, чтобы послать за старичками самых учтивых людей, полированных, и чтобы взяли послы каждый с собою по мягкой плетушке⁴ соломенной, в каких носят гусей пред царским теремом на льду драться. А в каждую плетушечку наказали калеки настлать на доньшко сена пахучего и мягкого волокнистого мху со старой сосны, а сверху присыпать слегка пухом и драными перьями, чтобы было во что закопаться пустынночкам. И всадить старичков надо вежливо, по-учтивому, и нести во всю дорогу посменно в плетушечках, потому что свои ножки у них отстоялися и ходить они разучились, а тела у них так изветшались, что нести их посыльным нимало не тягостно.

Разослал король пятьдесят послов во все стороны и велел, чтобы нашли, где хотят, старцев: Дубовика, Полевика и Во-

³ Рамедные – лесные.

⁴ Плетушка – малая ручная корзина.

ловики, и чтоб сняли их с насиженных мест бережно, посадили половчее в клетушечки и принесли бы к королю на заколочках. И которые из полсотни людей не найдут старичков, а без пользы даром проходят, тем большого наказания пужаться не надобно и домой идти весело; а которые счастливы будут и праведных старичков принесут, тем ждать себе больших почестей: тем поставят каждому у двора по кресту и по шесту, а наверх шеста взденут цветной колпак, чтобы все, кто мимо пойдет, вверх глаза бы драл да им бы завидовал. А дорогой чтобы ни о чем старичков не сметь спрашивать, а сказать только им, чтоб они не боялись для себя ни битья, ни бритья, ни горячего укропа, потому что зовет их сам король к себе на очи и хочет узнать от них только одно: отчего у него все не спорится и не ладится. И как только они ему об этом скажут, так он их ни о чем больше не станет расспрашивать, а наградит всем, что им надобно и в какой чин они захотят — в тот он их и пожалует. Если они захотят при короле чтобы быть, то он оставит их жить у себя на застольнице и даст им супротив других кормы вдоволе; а если они, одичавши чрез долгий век, не поймут, как в столице жить и как при каких церемониях надо ухмыляться или морщиться, то король их за то не сказнит, а опять назад в свою глушь сошлет на тот манер, как самим им понравится, — хоть в колымагах на тавреной, пушной кошме, хоть опять на мхе и на сене в плетушках соломенных.

Пошли послы королевские, как им было указано, — и во

все концы королевства рассыпались, — в каждый след все по парочке, для того, чтобы как найдут старичков, так нести их на закорках, не без отдыха, а друг с дружкой в переменочку.

Шли они, шли, не считая сколько дней, очень долго, и все еще без толку, и зашли уже на самый край королевства — дальше чего и идти нельзя, потому что стоят тут чужие стражники, на плечах — песьи головы. Но чуть только три пары послов завернулись, вскоре же обрели всех трех старичков — одного в лесу, другого — в поле, а третьего — посреди рамедных болот. Сказали им посланцы от своего короля поклон вежливо и стали звать их с собой по-учтивому; но старички им ничего ни в ответ, ни в привет не промолвили, а только, как цыплятки, начали себе тонкими веками глазки зашуривать. Тогда посланцы сняли их с насиженных мест и стали на них грозиться и спрашивать:

— Ну-ка вы, бессемянники: нет ли под вами на ваших местах серебра, или золота, или самоцветных камней? Лучше вы, дохлая братия, сами честью откройтесь, а то ведь мы вам не таковские — запытаем, замучаем до смерти.

Поняли старички слова их или не поняли, но только опять ничего не ответили, а послы их за то переверотили на ловкую сторону и на обе корки отхлопали, и опять стали спрашивать, и опять ничего не добились, — и так до трех раз отхлопали, а после того посадили их на сено в плетушечки и наказали, что бы ни один не смел королю на них жаловаться. Потом прикрыли их сверху лопушиным листом, чтобы

перелетные птицы их не запачкали и понесли к королю на закорочках, друг с дружкой ношей меняючись.

Глава четвертая

Сошлись все три пары обретших послов в столицу королевскую в один день на утренней зоречке, когда король шел из опочивальни королевиной в свою теплую мыленку. Посланцы как несли старичков дорогой в плетушечках, так их у предбанника на землю поставили, а сами в ряд позади становились. Помылся король майоранным мылом и щелоком с кучерявой мятой, с душицей, расчесал кудри и бороду и вышел из мыльни показаться народушку, а послы тут зараз лопухи с плетушечек сняли прочь и Доброхоту старичками челом в землю ударили.

Король сделался радостен: велел послов накормить, напоить и в его собственной бане отмыть и хорошенько выпарить, а сам подошел к старцам с улыбкой приветною; но как увидал, какие они сидят испитые, тщедушные – в чем душа в теле держится, то от страха и руки врознь.

Однако же, поглядев на них оком благостным, король осмелел и стал над их над плетушками разговаривать, что вот так и так, научен он сызмлада наукам и мудростям и очень хо чет, чтобы всем в его королевстве хорошо было, а никак это у него не спорится, не ладится.

– Спрашивал, – говорит, – я об этом моих мудрых бояр и советчиков, да ничего не дошел от них умного: или они не знают, или таятся, а говорят все такое, что уже тридцать

раз слышано. Нуте-ка вы, – вы вот много лет все молчали и устремляли умы на высокое, – прошу я вас честью: скажите вы мне, отчего у меня не спорится и не ладится?

А старики как сидели, так и сидят во плетущечках, и как молчали они много лет, так и теперь молчат и своего слова не сказывают.

Терпелив был и ласков король, но за это разгневался.

– Что же, – говорит, – вы молчите, как истуканы и чучелы? Я посылал за вами много людей полированных во все стороны, а вы мне и по одному слову не сказываете. Вы теперь не в лесу и не в болоте, а в моем стольном городе; здесь молчать, когда спрашиваю, – значит грубительство, и за это от моего утверждения по закону вас будут наказывать. Смекните, что я говорю с вами не ради забавы и прибыли, а для пользы в великих делах государственных. Для чего же вы мне противитесь? Не забудьте, что вы мне верноподданные и я могу повелеть, чтобы при мне вас поломя рассечь или привязать вас к конским хвостам, да и размыкать вас по полю.

Но смутился король, что если старичков казни предать, тогда ничего от них не доведешь, а если сдать их честь честью с рук на руки палачам-молодцам и велеть развести по застеночкам, да на дыбе потрясти, да расспрашивать, то они и одной встряски не выдержат – все рассыплются в прах и разлетятся пылью по потолкам да по стеночкам.

И опять созвал Доброхот на совет всех своих мудрых советчиков и спросил их: отчего перед ним справедливые стар-

цы упрямятся и что ему с ними надо сделать – как их понудить, чтоб они по одному важному слову высловили?

Вельможи отвечают:

– Мы бы знали, что делать, да ты это дело сам испортил.

– А чем я испортил? – спросил король.

– А испортил ты тем, что понизил высокий сан – стал с простыми людьми вровень разговаривать: вот они через это теперь и зазналися. Тебе, кроме нас да стрельцов, ни с кем говорить непригоже – потому что твое дело средь всех людей особенное. Чтоб исправить теперь их как следует, дай их нам – мы от них всю их премудрость доведем.

Король было совсем согласился отдать старцев боярам, но прослышала опять об этом мамка-полонянка доилица и пришла с клюкой к королю, чтоб его отговаривать.

– Не сердись, – говорит, – ты на бедных пустынников; ведь они одичали и молчат уже много лет. Не хотят они и тебе говорить не по грубости, потому будто дело твое особенное, а они – не прогневайся – оprostились и тебя мнят не выше всех прочих в создании и в особину на тебя не надеются!

– Значит, глупы они, – отвечал король, – в сем вина тебе: ведь они сюда с твоего совета и позваны.

– Нет, не глупы они, а неопытны: лгать стыдятся, а прямить бояться. Подожди, они при твоём дворе проживут – анодируются и тогда ухитрятся, как сказать про все неразберихою, – скажут так, что ничего не будет тебе и другим неприятного и все будет то, что твоему могуществу надобно. А

только ты потерпи и не давай их на допрос своим боярам-советчикам: видишь сам, чай, что старички они очень слабые, – а бояре твои против слабых усилие творить очень усердные: они их возьмут да с большого усердия запытают и замучают до смерти. Мой совет тебе: будь обходительней; призови ты сейчас лучше всего своего гусяра Разлюляя-гудошника – он измигул⁵ мужичонко, лядашенький⁶, ни на мир, ни в семью ничего не работает, а одним своим пустобрехом на свете жив; но зато знает он все разные хитрости и все ходы с подходами. Посмотри-ка, он чего занесет пустолайкой и враз у старичков правды допросится, – обойдет их если не лаской, так хитростью.

Доброхот позвал своего плясуна, гусяра Разлюляя-гудошника и сказал ему:

– Ты, лядаший мужик, измигул нераб отпетый, только хари гнешь да врешь не зная что пустолайкой, – здесь от тебя до сей поры никакой пользы не было, а теперь я тебя хочу поставить совсем на другую статью. Полно тебе в дураках ходить да ерошиться: я теперь тебе свое государево великое дело приказываю, чтобы ты, как умеешь и ведаешь, допытался у старичков их откровения премудрости: отчего у нас в королевстве не спорится, не ладится.

И закончил король Разлюляю решением:

– Узнаешь премудрость – дам тебе сто рублей, а не узна-

⁵ Измигул – лентяй, дармоед.

⁶ Лядашенький – слабосильный.

ешь – велю дать сто плетей. Помни, что мое слово королевское твердо, как Бог в небеси, – что я сказал, то и станется.

Глава пятая

Разлюляй-измигул, гулевой мужичонко, шершавенький, по-всегда он одет в зипунишечке в пестреньком – один рукав кармазинный⁷, а другой лазоревый; на голове у него суконный колпак с бубенчиком, штаны пестрядинные, а подпоясочка лыковая, – не жнет он и не сеет, а живет не знамо чем и питает еще хозяйку красивую да шестерку детей – на которого ни глянь, сразу знать, что все – Разлюляевичи. Ходит он повсюду болтается, и никто разобрать не может: видит ли он добро в той темноте, что была до Гороха-царя, или светится ему лучшее в тех смыслах, какие открылись людям после время Горохова. Никто его не чуждается, а все зовут его «пустолайкою»; но измигул Разлюляй ни на чьи слова не обижается и за легким тычком не гоняется, а людей потешает и как устанет врать пустолайкою, то соловьем свистит, то лопочет варакушкой, на руках идет, боком катится и на всякий на разный манер притворяется.

Но как выслушал Разлюляй королев приказ, позабыл он все свои забавы и шуточки и начал проситься от этого дела прочь – что «не мне-де такое важное дело ведати»; но король топнул ножкой, и пошел Разлюляй к старикам и начал вокруг них, по обычаю, измигульничать: митусить ногами и кланяться да притворно сквозь слезы приговаривать:

⁷ Кармазинный – ярко-алый.

– Ох вы гой еси, старички справедливые, треблаженные, Божьи молчальники, разомкните уста свои благовестные и скажите скорей, не потаите от короля от нашего, милосердного батюшки, отчего у него под державой все добро не спорится, не ладится?

А старички как молчали, так и теперь молчат, только знай себе в кошелочках гнездятся.

Тогда Разлюляй стал на другой манер измигульничать и начал их пробовать жалостью:

– Мне нужна есть узнать это страшная: потому что если вы мне скажете, отчего не спорится добро, то король обещал мне дать сто рублей; а если не скажете, то он даст мне тогда сто плетей. Его слово королевское крепко и сбудется – не забудется. Да вам и самим, старичкам, для себя молчать не советую, потому что король вас тогда не отпустит назад ни в степь, ни в лес, ни в болото, а велит вас подвесить в кошелочках под полати в большой избе, где он держит частый совет со своими вельможами. Что там по все дни наслышитесь – спаси только, Господи. Вот вы на этот счет пораздумайте: каково-то вам там придется слушать совсем непривычные речи до самого до веку! Выручайте и меня и себя, отцы, а то нагрешите вы с ними три короба и не годитесь после того ни к столу, ни к смотру, ни в рай, ни в ад, ни в Царство Небесное, а так и останетесь висеть под полатами.

Так напугал этим Разлюляй старичков, что они стали глазами водить во все стороны и изгоревшими устами свои-

ми начали пошевеливать, а измигул Разлюляй-пустобрех как увидал, что успел им загнать во лбы загвоздку здоровую, – сейчас побежал к королю и говорит:

– Что мне от твоей милости сказано, я все это уже выполнил: старички уже теперь полируются – стали уже губами двигать и скоро шептать начнут, – одевайся скорей да иди-ка их слушать, что они высловят, какие премудрости.

Как пришел король да нагнулся к первой плетушечке, так и стало слышно ему, что старик Дубовик и впрямь полируется – об ивовое плетение, как поросенок, всеми боками трет-ся, а сам робко пыхтит и тихо покрехтывает.

Король его и спросил: «Отчего на свете доброе не спорится и не ладится?»

Старик Дубовик прошептал:

– *Оттого, что люди не знают: какой час важнее всех.*

Доброхот нагнулся к другому – к Полевику, и того спросил, а тот шепчет:

– *Оттого, что не знают: какой человек нужнее всех.*

Нагнулся Доброхот и к третьему старичку, а тот ему сказал:

– *Оттого, что не знают: какое дело дороже всех.*

И так молчальникам трудно это было проговорить с привычки, что они как только сказали, так и ослабели и больше не полируются, а лежат, едва дышат, на донышках. Ничего от них король больше никак не мог допытаться, доведаться и еще больше рассердился, потому что сказанные ими слова

стали ему загадками, которые понимать можно надвое. Король же привык так все брать, чтобы было ему все как на ладонке положено, и оттого ему теперь еще больше досада пришла, и приказал он сделать с старичками точь-в-точь так, как им Разлюляй пригрозил: указал Доброхот, чтоб их не носить ни в лес, ни в болото, а подвесить их в кошелках в большой советной избе под палатами и держать их там, пока они не скажут: какой самый важный час, кто самый нужный человек и какое дело дороже всех.

Отнесли старичков в советную избу и подвесили под полатями в их плетушечках, посыпали им пшенной каши, чтоб они впросоночках зоблили⁸, и поставили на верхнем полу ведрце воды с медным ковшиком, а сами все спать пошли и разоспались до одури самым крепким сном до самого до свету.

Но, однако, спали не все люди во всю ночь без просыпу – проснулся в первые петухи сынок кравчего⁹, побежал в избу незапертую и украл из ведра с водой красный медный ковш, чтобы променять его на подторжье¹⁰ на пряники. А потом еще не послалось самому королю Доброхоту премудрому: все казалось ему, будто его закожные блошки покусывают. Провалился он так без сна до последних петухов, и надоело ему в постели барахтаться – без сна лежать, только маять-

⁸ Зоблить – есть.

⁹ Кравчий – боярин, ведавший царским столом.

¹⁰ Подторжье – торговля накануне ярмарки.

ся; встал он горошком, распрямился, нахватал себе на плечи королевскую глубоньку и пошел старичков посмотреть: живы ли они, и здоровы ли, и чего они через ночь, полируясь, надумались?

Пришел король в избу, подставил себе к полатам приставную скамеечку, но только что глянул в плетушечки, – так и рот раскрыл, и завопил благим голосом, и со скамьи на пол навзничь треснулся. Все плетушечки были пусты-пустехоньки, и ни от одного старичка ничего не осталось, кроме смятого места да наседней. Разлетелись ли они легкою пылью по стенкам да по полу или унесло их по воздуху, но только тут, где они сохранялись, ничего не осталось.

Король так испугался, что как со скамьи упал, так и не становится на ноги, а катается по полу и так бьется, что вся земля трясется. Стало страшно ему, что когда ни есть, благим временем, уберегут самого его слуги верные, так что, пожалуй, лиходеи и его со двора сведут и растрясут где-нибудь без остаточка... Услыхали караульщики, как земля дрожит, и стали спросонья бить громкий всполох по чугунной доске на целый двор и кричать благим голосом: «Ай, земля сотрясается – мы насилу за колышки держимся!»

Перепугались всполоха и крика королевские спальники и застольники и начали со страху вокруг себя на карачках ползать, а потом пришли и вылили королю все ведро воды за ворот и насилу нашли королевского доктора-немчина, который один знал, что сделать надобно: он поднес Доброхоту под са-

мый нос стеклянную столбушечку, а в столбушечке тертый крепкий хрен, и защекотал ему перстами в подмышечках.

От хрена и щекота королю сразу полегчало: он стал похатывать, и враз возвратились ему все его чувства нежные и большие заботы о подданных. Созвал он опять к себе всех бояр и советчиков и стал спрашивать их: где делись пустыньники, не извел ли их кто какой отравой, боясь их правдивых слов, или не продал ли их с ненасытной душой куда-нибудь в чужое царство безбожное, где их станут неволить в римский костел ходить и есть скоромное по средам и по пятницам.

Бояре, как могли, постарались короля успокаивать и стали ему доводить, что никакого тут зла с умыслом не случилось, а что просто жил, верно, в палате под полом жадный хорь и поел этот жадный хорь старичков без остаточка.

И стали все короля отвлекать и рассеивать – что убиваться ему о такой пустой пропаже долго не следует, что «старички были люди ветхие и свой век давно уже отжили».

– Пропоем о них панихидочку, вспомянем их кануном на паперти да у себя по домам блинками с припекою и будем править всем опять по-старинному, как было при дедах наших и прадедах. А что никак не спорится и не ладится – про то, значит, и думать не следует: на земле беднякам всегда будет жить тяжело, да никуда они не поденутся, ведь на небо взлететь крыльев им не дано. Поскулят и на том успокоятся!

Королю же, однако, эти слова не понравились, и не поверил он тому, чтобы старичков у него в избе хорь изъел, – а

сказал он так:

– Если хорь изъел, то где же их косточки? Панихиду о них я согласен петь, да ведь надо петь ее над могилами.

Тогда приступил к королю судный дьяк, во всех делах многоопытный, и сказал королю, что бояре болтают негожее. не хорь изъел старичков, а ушли они не иначе как своею колдовскою хитростью: пролили из ведра воду на пол, а сами сели в медный ковшик и уплыли. Их теперь нигде не сыскать никакими манерами. От лихих колдовских людей такие дела не раз были во всех землях и при всех дедах и при прадедах и везде на телячьих на шкурах записаны чертами и резами, со берегами широкими, и в самых глубоких подвалах те шкуры положены, чтобы хранить в поучение внукам и правнукам.

А король говорит:

– Хорошо, чему верили деды и прадеды, тому я всему с охотою верую, но ведь не грех и то узнать: что как устроено? Вот я хочу, чтобы вы показали мне: через какое подполье старцы в медном ковше сквозь землю в океан-море спустились? Согнать сейчас со всего королевства плотников, и чтобы взломали они враз все полы во всех домах. Не ломать только в моем тереме, да у серых сельских людей, у которых в жильях полы не стланы.

Глава шестая

Пошли бояре невеселы: не хотелось им посылать людей, чтобы стогнать со всего королевства плотников и ломать половицы в жилых домах, а не смели ослушаться короля и не знали, как своему горю помочь. Но на их счастье узнала опять обо всем об этом королевская мама, чуждянка-доилица, и пришла она к королю с прежней смелостью и начала говорить ему по-учтивому:

– Ты прости меня, неразумную: я хоть и стара и глуха, а кое-что слышала и могу тебе рассказать, куда делися старичики. Их не хорь изъел, и не сплыли они в медном ковшике, а настрашал ты их до смерти сам, что велел их подвесить к полатам в избе, где держишь совет свой со своими боярами. Старичики век сидеть и все слушать вас забоялись. Я не спала всю эту ночь от лихого от вереда и слышала, как они друг с дружкой в потемках скликнулись. Поначалу все они сразу чирикнули, точно будто сверчки под загнеточкой¹¹, а потом зачали¹² в своих плетушечках покачиваться и так раскачались во все стороны, что враз опрокинулись и с сенцом вместе на пол и выпали.

– Где же они теперь? – закричал король.

– А теперь их и след простыл: уползли на карачках с тво-

¹¹ Загнеточка – ямка в печи, куда сгребается зола.

¹² Зачади – здесь: начади.

его двора и все в буйной траве без следочка и скрылися. Теперь их тебе ни за что не найти, потому что трава у нас этот год очень рослая; да и дело до них уж теперь не касается.

– Отчего же оно не касается?

– Оттого, что приснился мне вещий сон и был слышан во сне таковой глагол, что отгадать их премудрость может только одна чистая жалостница, которая всех равно сожалеет, а сама о себе ничего вовсе не думает. Так вот ты теперь оставь старичков, а посылай искать эту девицу.

Король свою маму, чуждянку, послушался и сейчас же разослал дворян и боярских детей девицу разыскивать, а на кормы их повелел собрать по всем дворам с каждого дыма по шелегу¹³.

С неохотой большою и с тугою боярские дети и дворяне в подневольный отъезд собиралися; перво-наперво все они взяли шелеги, а потом зачали у себя по домам печи топить и в банях париться. А потом долго справляли себе лубяные зобенки¹⁴ раскрашенные да укладывали в них пироги с ветчинной начинкой, медовые оладьи, да колобки, в жиру кипяченые, да блины с разною с припекой, и когда, наконец, напосудились, то кое-как с трудом за ворота повыползли и поехали в путь со своими стремянными. А как за околицу выехали, так сейчас взяли с прямого пути в стороны и разъехались к родным да к приятелям и начали там есть досыта,

¹³ Шелега – монета.

¹⁴ Зобенка – большая корзина.

пить допьяна, а напившись — кости и зернь метать, и играв — подрались и друг дружке под очи синявы наметили, а потом помирились, на синие места муки с медом намазали и легли, крепко выпались, а как хмель прошел и синяки позаиндевели, — послы все назад возвратились и почали разные страхи рассказывать про то, где будто были и что видели, и, пред иконами став, забожились, что хоть много на свете есть непонятного, но нет нигде такой девушки, которая бы всех сожалела, а о себе об одной не заботилась.

— К этакой, — говорят, — если б была она, весь народ на один край света сбежался бы, и весь свет бы тогда перекувыркнулся.

Глава седьмая

Услыхав такой сказ, король так опечалился, как до сих пор и не было: не стал он совсем ни есть, ни пить, ни по галерее гулять – дышать чистым воздухом, а залег, как медведь на зимовочку. И вот лежит он таким манером раз в сумерках, совсем тощий, у себя в верхней горнице на лежаночке, и едва через силу говорит своей бабе-доилице:

– Неужели же я так и умру, не доведавшись: какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех?

А баба ему отвечает:

– Если будешь все бояр рассылать – пожалуй, что так и не дознаешься, а попробуй пошли опять отыскать девицу-разгадчицу своего Разлюляя-гудошника. Пусть он ее хоть и век ищет, но без нее чтобы не шел назад. Он мужичонко корявый, лядащенький, говорит пустолайкою, и за ним никакие дела не задержатся, а кормов ему от казны супротив бояр можно дать всего одну долечку, да и то почитай, что не надобно: он и так пропитается как-нибудь одною своею верностью. Верных псов-то добрый народушка и весь век держит на бескормице. Пусть и он при всей верности свое счастье испробует. Пускай высечет себе топором в заказном лесу хоть костыль с клюкой, хоть дубинку здоровую, а на плечо

перекинет пенечную оброть¹⁵ конскую, и довольно ему принадлежностей. Пусть идет, будто надо ему коней искать: «на росу, мол, пустили, а они с росы разбежались». И пусть так идет, куда знает сам, и проходит хоть сквозь целый белый свет: где ж нибудь на краю света разыщет он девицу-отгадчицу. Ведь сквозь тартарары она небось не провалится.

– Хорошо, – отвечал король, – все твои рассуждения умные, и они мне всегда очень нравятся: пошлем Разлюля в место больших бояр; а только не вздумаю, какое ему посулить за его службу жалованье?

– Обещай: что больше, то лучше. Пусть больше зарится, а там, что взаправду дашь, – будет видно, по его старанию. И совсем ничего не дашь – тоже стерпит: на тебя ведь ни в суд не пойдет просить, ни в полицию. На тебя один Бог судья: твое дело совсем особенное.

– Это правда, – отвечал король, – на земле мы не судимся, ну, а все-таки надо и нам меж людей вести себя с честностью: что королевским словом обещано, то уж надо и выплатить, все равно, как по бирочке.

– Ну, так, пожалуй, его опять и в этот раз в одностаи против прежнего: если он исполнит свою службу и найдет девицу-разгадчицу, дай ему в те поры полных сто рублей, а если не исполнит – не сыщет девицы, вели дать ему полностью сто плетей, да и отпусти его тогда, Бог с ним, пусть идет опосля к своему двору, а ты на него больше не гневайся и пожалей

¹⁵ Оброть – недоуздок (узда без удила, с одним поводом).

его за старание.

— А как он и девицы не найдет и сюда к нам со страху совсем не воротится? Он ведь пустой человек, ему везде все равно — в целом мире отечество.

— Ну, про это, — сказала старуха, — я, друг мой, не сведуща. Позови к себе из приказа посольского сурового дьяка, который послам ярлыки дает за печатями; дьяк тебе это дело все оборудует.

Пришел дьяк и привел с собою самого хитрого подьячего с приписью, и подали королю такой совет, что ярлыка Разлюляя вовсе не надобно, а как станет король отпускать Разлюляя в последний раз, то сказать ему, что идет он послом не на целый век, а дается ему сроку ходить по свету всего три года, и если он к концу третьего года своей службы не выполнит, то ему самому зла не последует на чужой земле, а тут, дома, его дети с их матерью каждую неделю будут ставлены на площадь по три утра и будут биты в три прута, а при том битье у них будут спрашивать: знают ли, где их отец и когда перед светлые королевские очи воротится?

— Пригрози-ка так, — сказал дьяк, — Разлюляй — хотя и пустой человек, а дети — всякому своя кровь: небось и он пожалеет ребят и жену и назад придет. Таковые разы уже не раз были и на шкуре телячьей записаны чертами и резами, со берегами широкими, и в подвал под избой на сохрану положены.

Король молвил втишь, что ему самого Разлюляя жаль, но

и дьяк и подьячий с приписью его успокоили.

— Нельзя никого сожалеть нам в особину, пока все вообще еще не устроилось. До всеобщей устройки кто-нибудь пусть потерпит, для других постарается, и зато будет всем польза в будущем, а ему это зачтется на тот свет душевным спасением.

И изволил сказать король, чтобы собрать Разлюля в путь, а кормов ему присудили дать небольшим положением: толокна за пазуху да узелок соли в тряпочке, а дальше пусть чем сам знает, тем пусть и кормится.

Сытее его снаряжать и не стоило, потому что дело, за которым шел он послом, совсем ненадежное. Весь народ о том знал от бояр сановитых доподлинно. Да, кроме того, Разлюлю нигде кормов и не надобно. Оголодает, так может либо песню спеть, либо ударить хорошенечко вприсядку, и везде себе хлеба он выпляшет, а не выпляшет, так и сам возьмет потихонечку. Ведь съестное тайно взять не грех, а благородиться Разлюлю не для чего: на нем чина большого не кладено; ударят по шее — согнется, а запрут где-нибудь — выерзнет подворотнею и опять пойдет веселехонек.

Измигул же и нетяг Разлюляй Разлюляевич не дурак тоже был: не взманила его большая честь, чтобы быть в послах, и начал он сильно отпрашиваться и до той поры пред троном в половицу лбом стучал, что набежала у него на лбу шишка, как гриб, что зовется волвянкою. Представлял он королю Доброхоту все доводы, что и не умен и не знатен он, и на все

языки не выучен, и не с каждым вровень говорить может, а здесь без него дома ребят кормить некому и некому их учить уму-разуму и почтению королевскому.

Только просьбы его ни король, ни бояре не слушали, а ска-зали ему, чтоб о детях своих нимало не плакался, потому что их сошлют до его возвращения к самому королю на птичный двор и приставят утят стеречь, и будут им там и корм вдово-ле, и во всех смыслах научение; а самого Разлюляя выпихну-ли за ворота, как он дома был, в одном зипунишке с запла-тами, в руке – дубиночка, а на плечах – оброть конская, – будто он ходит да сбеглых коней ищет.

Нечего было больше делать Разлюляю, и пошел он искать девицу-разгадчицу. И шел он все честь честью самым смир-ным обычаем, нигде ничего, кроме съестного, не крал и, ко-гда не давали вина, не пьянствовал, а все шел вперед; дол-го ли, коротко ли, и зашел он страсть как далеко, на самый почти край света. Встречал он на своем пути много разных людей: и звероловов, и коробейников, и пахарей, – и у всех, кого встречал, – всех расспрашивал, какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех; но ни-кто этого разгадать не мог. А обратно те, кого он расспраши-вал, сами хотели знать от него: отчего у него на лбу высокочила шишка волвянкой? А Разлюляй говорил про волвянку всякому разное: то будто он своему королю у Бога до вечного живота просил и все в землю кланялся, то будто сам за свои грехи каялся. Наконец, повстречался он раз с воровским цы-

ганом, под самую Пасху великую, и тоже стал у того цыгана про свое дело спрашивать; но цыган ему засвистал и показал в перстах загогулину и говорит:

– Ты мне прежде сам скажи: хорошо ли жить у вас под державою и отчего у тебя на лбу вспухла шишка волвянкою?

Разлюляй ему рассказал, что жить у них очень сладостно, а что шишка у него сделалась от больших молитв; но цыган говорит:

– Не обманешь, брат, я и сам богомолен и посты держу, когда нечего есть, а на лбу у меня нет еще шишки волвянкою. Признавайся по истине.

– А по истине, – говорит Разлюляй, – я в бане мылся да с полка свалился.

– Что же ты за полук-то не уцепился?

– Очень угоревши был.

– Вот, я вижу теперь, ты говоришь мне все по совести: ишь какие вы, братцы, счастливые – вас и кормят, и поят, и спины вам порют – чего еще надобно! Теперь мне с тобою вдвоем ночевать не страшно, – отвечал цыган, зубы скалючи, и обещал ему завтра натоше отгадать все три загадки. Так легли они и покрылись зипуном Разлюляевым, а в ночи встал цыган, съел все толокно, украл оброть, надел зипун, да и был таков.

Остался Разлюляй в одних портках да в рубахе и поплелся в пустынный скит, где жил высокий поп Сирах, у которого была одна ряса в дырах, а читал он все книгу Премудрости;

но только оказалось, что Сираха-попа давно уже и на свете нет, а на его месте живет новый поп, хотя ростом и низок, да зато на нем сорок ризок, и он поет и читает молебны с акафистами, а в Сирахову книгу Премудрости не заглядывает. Ниоткудова нет Разлюляю ни совета, ни помощи, только все ему бедства множатся, и идет он, сам под собой земли не видит и проливает слезы горючие. Тут-то над ним, наконец, Бог и сжалился – даровал ему встречу желанную.

Глава восьмая

Сам не свой, Разлюляй шел все далее, и зашел в самый темный лес, и заснул на мху на поляночке, и проспал с полдня до полночи, а в полночь прокинулся, и увидел он там при луне старичка очень старого, в долгой рубахе до пяточек, – стоит да с лип лычко дерет, а устами поет тихо Спасов стих. Разлюляй думает: «Что это – либо сон снится мне, либо видение, или такой заправский старик, которому в ночи спать не хочется? А не лучше ли мне, на всякий раз, со старичком поздороваться?...» Взял и сказал ему по-учтивому:

– Помогай Господь тебе, дедушка!

Старик отвечает:

– Будь и ты здоров, Какойто Какойтович, и скажи, как тебя зовут иначе?

Разлюляй ему назвался.

– Хорошо, – говорит старичок, – Разлюляй – имя веселое; да скажи-ка мне, Разлюляй, для чего ты здесь измигульничаешь, зачем у нас по лесу шляешься? Или вы уж свои-то леса все повывели?

Разлюляй ему отвечал, как леса свели, да притом рассказал, и зачем послан, и что претерпел, и как потерял все свои принадлежности; а старик ему говорит:

– Твое дело, брат, для меня непонятное, ну а только сдается мне, будто я тебе в этом деле помочь могу.

– Помоги ради Господа, дедушка, а тебе Господь Бог заплатит сторицей.

– Да, Господь-то, Господь, всем нам батюшка, а по нем и все братья мы, а ты, молодец, не зевай-ка, а полезай-ка вот этой глухой тропиночкой; теперь уж гораздо ночи ubyло, уже волк умылся и кочеток пропел. Да иди, не борзясь, а с терпением, и не бранись никак дурным словом, не гони от себя своего Сохранителя Ангела. Так пройди ты через весь долгий черный лес, и придет тебе там впоперек пути холодная балочка; ты переплывь вплавь без страху через холодную балочку да пройди опять весь красный сосновый бор и увидишь прогалинку, а на ней, посредине, приметный калинов куст, и от того куста поворот будет на полдень, и там ты увидишь поляночку, а посреди той поляны стоит больной журавель окалеченный: одно крыло у него все как следует, а другое повисши мотается, и одна нога тоже здоровая, а другая в дубочек увязана. Не то его в небе орел подшиб, не то, не знать для чего, подстрелили княжьи охотники: они убивать и зверьков и птиц, спаси Господи, какие досужие! А у меня есть внучка-девчурочка, тут в лесу со мной и выросла; да такая, Бог дал, до всех сердобольная, что не обидит козявочку – вот она того журавля нашла да в дубочек ему хворую ножку и повила. Ну, теперь ей заботы и прибыло: доглядает его и дает ему зернышки, пока журавелько поправится да дождет себе по поднебесью в теплые края попутчиков. Там и сама она, моя внучка-то, от поляны от той в сторончке на

сухом взлобке наших овец пасет. Ты узнаешь ее – такая девица пригожая; глазом посмотришь – век не забудешь, сколько светит добра из ней. Она там либо волну¹⁶ разбирает, либо шерсть прядет... Все сиротинкам готовит к студеной поре на паглинки... Не гордись пред ней, что ты королевский посол, а спроси ее: она тебе может все рассудить, потому что дан ей от Бога светлый дар разумения.

Разлюляй так и вскрикнул от радости.

– Боже мой! – говорит. – Ведь ее-то мне только и надобно! Про нее, про девицу, мне только и сказано; мне других никого бы не надо и спрашивать.

– Вестимо, не надобно. Кто в суете живет, тем разве могут быть явлены тайны сердечные!

– А кто же еще там с твоею внучкой, какие люди живут вместе, дедушка?

– Господь с ней один там, один Господь-батюшка. Он один ее бережет, а людей с ней никаких, милый, нетути.

– Как же она не боится одна в глухой дебри жить?

Тут старик слегка понасупил.

– Полно-ка, – говорит, – заводить нам про боязнь да про страх речи негожие! Что ей за страх, когда она про себя совсем и не думает!

– Господи! Вот это она и есть! – завопил Разлюляй. – Вот это ее-то одну мне и надобно!

И забыл Разлюляй про всю усталость свою, побежал шибко

¹⁶ Волна – овечья шерсть.

к девушке. И на долю свою он больше не плачется, и на радости не свистит соловьем, и не прыгает, и не лопочет варакушкой, а поет благочестный стих:

Как шел по пути слабый путник,
А навстречу ему сам Иисус Христос.

Пробежал так Разлюляй без усталости весь и черный, и красный лес, переплыл без боязни холодную балочку, опознал и приметный калинов куст на поляночке и увидел, что там в самом деле стоит хромой журавль: одна нога в лубочке увязана, а сам тихо поводит головой во все стороны, и глазами вверх на небо смотрит, и крылом шевелит, ожидает попутных товарищей. Но едва увидал журавль, что идет Разлюляй – чужой человек, вдруг закурлюкал, и замахал живым крылом, и запрыгал на здоровой ноге ко взлобочку. А там, прислонившись у дерева, стоит ветвяной шалаш, а пред тем шалашом – старый пенёк, а на пне сидит молодая пригожая девушка, с большою русою косой, в самотканой сорочке, и прядет овечью шерсть, а лицо ее добротою все светится. Вокруг нее ходит небольшое стадо овец, а у самых у ее ног приютился старый, подлезлый заяц, рваные уши мотаются, а сам лапками, как кот, умывается.

Глава девятая

Разлюляй подошел к девице не борзо, не с наскоку, а стал смотреть на нее издали, и лицо ее ему чересчур светло показалось – все добра полно и вместе разума, и нет в ней ни соблазна, ни страха заботного – точно все, что для ней нужно, ею внутри себя уготовано. И вот видно ему, что встала она при его глазах с пенушка, заткнула недопряженную шерстяную куделю за веточку и пошла тихо к кусту, за которым стоял Разлюляй, тайно спрятавшись, и взяла тут из ямки мазничку дегтярную, и стала мазать драный бок дикой козе, которая тут же лежала прикрыта за кустиком, так что до этого Разлюляй и не видал ее. Тут уже Разлюляй и не вытерпел – вышел он навстречу к девушке, и поклонился ей по-вежливому, и заговорил с ней по-учтивому:

– Здравствуй, красная девица, до других до всех ласковая, до себя беззаботная. Я пришел к тебе из далеких стран и принес поклон от короля нашего батюшки: он меня послал к тебе за большим делом, которое для всего царства нужно.

Девица поглядела на Разлюляя чистым взором и отвечала: – Будь и тебе здесь добро у нас. Что есть в свете «король» – не знаю я, и из каких ты людей – это мне все равно, а за каким делом ко мне пришел – не теряй время, про то дело прямо и сказывай.

Враз понял Разлюляй, что с ней кучерявых слов сыпать

не надобно, и не стал он дробить пустолайкою, а повел сразу речь коротко и все начисто.

— Так и так, — говорит, — вот что у нас в королевстве случилось: захотел наш король сделать, чтобы всем хорошо было жить, а ничего это у нас не спорится, не ладится, и говорят, будто все будет не ладиться до той поры, пока не откроем премудрости: *какой час важнее всех, и какой человек нужнее всех, и какое дело дороже всех?* Вот за этим-то делом и послан я: и обещано мне королем моим ласковым, что если я принесу отгадку, то он пожалует мне сто рублей, а если не принесу, то не миновать мне тогда счетных ста плетей. Ты до всех добра и жалостна, вот даже и зверки и птицы к тебе льнут, как к матери; пожалей же и меня, бедняка, красна девица, отгадай мне премудрость, чтобы не пришлось мне терпеть на своем теле сто плетей, мне и без бойла теперь уже мочи нет.

Выслушала девица Разлюляеву речь и не стала его ни измигульником звать, ни расспрашивать, как набил он себе на лбу волдырь волвянкою, а сорвала у своих ног придорожной травки, скрутила ее в руках и сок выжала да тем соком лоб Разлюляю помазала, отчего в ту же минуту у него во лбу жар прошел и волвянка принизилась. А потом девица подошла опять к своей шерстяной кудели и отвела нить пряжи длинную, и когда нить вела, заметно все думала, а как стала на веретено спускать — улыбнулась и молвила:

— Хорошо, что ты не задал мне дело трудное, сверх мое-

го простого понятия, а загадал дело Божие, самое простое и легкое, на которое в прямой душе ответ ясен, как солнышко. Изволь же ты меня теперь про эту простую премудрость твою по порядку расспрашивать, а я о ней по тому же порядку тебе и ответы дам.

Разлюляй говорит:

– Молви, девица: какой час важнее всех?

– *Теперешний*, – отвечала девица.

– А почему?

– А потому, что всякий человек только в одном в теперешнем своем часе властен.

– Правда! А какой человек нужнее всех?

– *Тот, с которым сейчас дело имеешь.*

– Это почему?

– Это потому, что от тебя сейчас зависит, как ему ответить, чтоб он рад или печален стал.

– А какое же дело дороже всех?

– *Добро, которое ты в сей час этому человеку поспеешь сделать.* Если станете все жить по этому, то все у вас заспорится и сладится. А не захотите так, то и не сладите.

– Отгадала все! – вскричал Разлюляй и хотел сразу в обратный путь к королю бежать, но девушка его назад на минуточку вскрикала и спросила:

– А чем ты, посол, уверишь пославшего, что ответ ему от меня принес, а не сам собой это выдумал? Разлюляй почесал в голове и задумался.

– Я, – говорит, – об этом, признаться, не взгадывал.

А девица ему говорит:

– Ничего, не робей, я тебе дам для уверенья его доказательство.

И научила Разлюляя девица так учредить, что когда он придет к своему королю, то чтобы сказал ему смело все, не боясь ни лихих людей и не ста плетей, а когда скажет все, то чтобы не брал себе ста рублей, а попросил их в тот же час раздать на хлеб сиротам, да вдовам, и всей нищей братии, для которых Христос просил милосердия. И если король кроме ста рублей еще что посулит или пожалует, то и того чтобы тоже ничего не взял, а сказал бы ему, что «я, мол, принес тебе светлый Божий дар – простоту разумения, так за Божий дар платы не надобно».

Отвечал Разлюляй:

– Хорошо, я так все и сделаю.

Глава десятая

С тем отошел Разлюляй от девушки, и как она его научила, так он все и сделал: пришел он и стал говорить с королем все по истине, не боясь ни дьяка, ни бояр, ни обещанных ему ста плетей; а потом не принял от него приобещанных ста рублей, а сказал ему слово про Божий дар разумения, за который нельзя ничьей платы брать и не надобно, потому что разумеенье дано нам от Господа.

Тут бояре, и дьяки, и подьячие все поднялись со свистом и с хохотом и все враз над ответами Разлюляя смеялись и старались сбить короля, чтобы он не верил словам Разлюляевым, потому что скоморох будто сам эти слова все подумал. Но, однако, король Доброхот показал и свое разумение и на их наученья не подался. Он сказал им:

— Вы в людях еще различать не умеете, а я вижу, что эти слова Разлюляй сам не выдумал. Если бы сам он их сложил пустолайкою, так просил бы, чтоб дать ему приобещанных сто рублей, а он, как я вижу, — мне верный слуга: он не хочет от меня за свою службу ни креста, ни шеста, ни корысти, ни милости. Таких слуг, как он, у меня до сих пор еще не случалось. Издаю вперед повеленье, чтобы по всей земле не сметь звать Разлюляя измигульником: он мне лучше всех вас старается. А вот вас бы я всех распустил от себя с большою бы радостью, да нельзя моему двору оставаться без челяди.

Для того только вы мне и надобны.

И захотел было король Доброхот править по всей этой простой, явленной ему мудрости, чтобы было в его земле добро каждому в настоящий час, в теперешний, без метанья очей в непроглядные отдаленности, да вступил ему в мысли страх, что «а ну как другие в соседних землях так не сделают? Ведь тогда одному-то мне у себя на такой манер не управиться посреди других временителей». И решил он, что лучше ему сидеть, как сидел, на престоле своем по-старинному, как и все временители, и держать в одной руке меч, а в другой – золотое яблоко. Разлюбяю же он указал, чтоб отъехать далеко от стольного города и поселиться жить навсегда там на пасеке, в теплом омшанике, и есть сотовый мед с огурцами и с репою, сколько похочется, а на базар не ходить и в село не заглядывать и у себя ввечеру за воротами не садиться на лавочке и про то, что слышал от ласковой девушки, ни встречному, ни поперечному не рассказывать.

Но зато, когда стал Доброхот завещать свой престол королевичу, повелел он дьяку, чтобы списали всю эту историю без одной без ошибочки золотою тростию на мехе и коже, чертами и резами, почертив строки без зализей, со берегами широкими во все стороны, и прикладывать к былым словам в стать письма небылишные, гласные и согласные. И указал Доброхот завернуть этот список в парчу, и в камку, и в холстиночку, и положить на дно в золотой ларец, и убрать в теремной в подвал под семь замков и за семью же печатями:

пусть лежит там до времени, пока перейдут временители.

Так это все в аккурате и сделано, и списание до сих пор лежит под печатями, а дела в королевстве идут все опять по-старинному, и все там опять не спорится, не ладится, а идет все, как было при дедах и прадедах. Не пришел еще, видно, час воли Божией.

На том старая сказка и кончена.

Маланья – голова баранья

(Сказка)

В одном глухом и отдаленном от городов месте была большая гора, поросшая дремучим лесом. У подошвы этой горы текла река, и тут стояло селение, где жили зажиточные рыболовы и хлебопашцы. От этого селенья шла через лес дорожка в другую деревню, а на этой дорожке, в стороне, на полянке стояла избушка, в которой жила бедная женщина по имени Маланья, а по прозвищу «голова баранья». Так прозвали ее потому, что считали ее глупой, а глупую ее почитали за то, что она о других больше, чем о себе, думала. Если, бывало, кто-нибудь попросит о таком, что нельзя сделать без того, чтобы лишить себя каких-нибудь выгод, то такому человеку говорили:

– Оставь меня в покое, мне это невыгодно – вон там на пригорке живет Маланья – голова баранья: она не разбирает, что ей выгодно и что невыгодно, – ее и попроси, она, небось, сделает.

И человек шел на пригорок и просил у Маланьи, и если она могла ему сделать, о чем он просил, то она делала, а если не могла, то приветит, да приласкает и добрым словом утешит – скажет:

– Потерпи – Христос терпел и нам велел.

У Маланьи избушка была крошечная, так что только можно было повернуться около печечки, а жили здесь с нею сучорукий мальчик Ерашка, да безногая девочка Живулечка сидела на хромом стуличке.

Оба они были не родня Маланье – голове бараньей, а чужие: родных их разбойники в лесу закололи, а их бросили; поселяне их нашли и стали судить – кому бы их взять? Никому не хотелось брать безрукого да безногую – никогда от них никакой пользы не дождешься, а Маланья услышала и говорит:

– Это вы правду, добрые мужички, говорите: без рук, без ног ничего не обработаешь, а пить-есть надобно: давайте мне Ерашку с Живулечкой. Случается, что мне одной есть нечего – тогда нам втроем веселей терпеть будет.

Мужички захохотали.

– Беззаботная, – говорят, – Маланья, прямая ты голова баранья. – И отдали ей и Ерашку, и девочку Живулечку.

А Маланья их привела и оставила у себя жить.

Живут часом с квасом, а порою с водою. Маланья ночь не спит: то богатым бабам пряжу прядет, то мужикам вязенки¹⁷ из шерсти вяжет, и мучицы, и соль заработает, и хворосту по лесу наберет – печку затопит и хлеба спечет, и сама поест, и Ерашку с Живулечкой накормит.

Сошлись перед вечером у колодца домовитые бабы и спрашивают Маланью:

¹⁷ Вязенки – варежки.

– Как ты, Маланья – голова баранья, с ребятишками прокуратничаешь?¹⁸

– А все хорошо, слава Богу, – отвечает Маланья.

– Чем же хорошо? Ведь они у тебя несчастные!

– А тем, бабоньки, и хорошо, что они несчастные, что на их долю немного нужно. Если бы они были посчастливее да позадачливее – мне бы не послужить ими Господу Богу, а как они плохие да бездомные, то что я им ни доспею – все это для них лучше того, как если бы я их не приняла да об них не подумала.

Покивали бабы головами и говорят:

– А ты еще вперед-то подумала ли, что с ними будет?

– Нет, – говорит Маланья: – я об этом не думала.

– Да как же так можно? Надо всегда о перед¹⁹ думать!

А Маланья отвечает:

– Что пользы думать о том, чего знать невозможно, даст Бог день – даст и пищу на день, а ночью нам всем есть покой на печечке.

– И то правда, – сказали бабы, – они – плохие, – может быть, и умрут скоро на твоё счастье!

А Маланья руками замотала.

– Что вы! Что вы! – говорит, – зачем смерть звать: я ее к себе на порог не хочу – пусть она за дверьми присохнет.

Домовитые бабы распотешились и рассмеялись:

¹⁸ Прокуратничать – затейничать, куролесить.

¹⁹ Перед – здесь: заранее.

– Ну, Маланья, – говорят, – голова баранья, да какая же ты удалая да смешная: саму смерть у порога засушить хочет.

Пошла Маланья к Ерашке с Живулечкой – понесла им водицы напиться дать и ее согреть в горшке да головенки вымыть у припечка, а бабы стоят у колодца, вслед ей смотрят и пересмеиваются. А к ним из лесу выходит старый старичок, на две клюки опирается.

– Бабоньки, – говорит, – кто у вас тут есть на селе жив человек, что пускает к себе неимущего путника?

А бабы ему отвечают:

– А ты чей человек и как тебя звать по имени и по отчеству?

Старик отвечает:

– Странник я света Божьего, и имя мне Живая Душа на костыльках; приустал в пути да уснуть хочу.

– Мы не знаем тебя, – отвечали бабы, – и пустить к себе без мужиков не смеем, а мужики у нас строгие да грозные – придут, заругают нас.

– Что же, вы, видно, своих мужиков больше Бога боитесь. Бог-то, ведь, велел принять и покормить неимущего.

Бабы отвечают:

– И то правда твоя, странничек: Божье слово помним, а человеческого боимся.

Живая Душа покачал головой и говорит:

– А ведь это, бабоньки, по худу быть – так бы ведь вовсе не надобно. Пойду к самим мужикам: у них попрошусь.

Пошел к мужикам, и мужики его не пустили.

– Кто тебя знает, – сказали, – может быть, ты слабым прикинулся и сам разузнать хочешь, где у нас дорогое добро лежит, да ворам открыть, а может быть, у тебя на теле прыщи да вереды²⁰, а у нас избы чистые и полы стланные; иди-ка по тропиночке в гору, там есть бедная избушка – в ней живет Маланья-голова баранья, она всех пускает и тебя пустит.

– Спасибо вам, добрые хозяева, – отвечал старичок Живая Душа и пошел к Маланье.

А Маланья увидела его из окна и послала безрукого Ерашку, чтобы звать его ужинать.

Ерашка добежал к старику и кричит:

– Иди-кось, дедко: тетушка Маланья наварила горшок снытки²¹, сольцой посолила, зовет тебя ужинать.

Старик Живая Душа погладил Ерашку по голове.

– И то, – говорит – к вам иду. Другие-то не пускают.

И только влез в избу – тесно стало и сесть не на чем, а Маланья говорит:

– Садись, дедушка, со ребятками ешь, а я постою.

Сел дедко и поужинал, и заговорил по-учтивому и по-ласковому.

– Спасибо, – говорит, – тебе, что не спросила, откуда я и как меня звать по имени, а посадила хлеба есть. Я теперь пойду в лес: у тебя тесно – всем нам лечь негде.

²⁰ Вереды – гнойные нарывы.

²¹ Снытки – щи из ботвы.

– Что ты! Что ты! Живая Душа Божия! В лесу медведи и волки ходят – разве я тебя ночью туда выпущу! Здесь нам всем место будет. Вот, Ерашка – на печку, а Живулечка – за печку, а ты тут протянись, где простор опростается, а мне мое место найдется.

– Ну, будь по-твоему, – сказал старик, а сам думает: «Где же ей-то самой место будет?»

Лег, покрылся своей ветошью да и уснул с одного вздоха от усталости, а после третьих петухов проснулся – и видит: Маланья стоит на ногах и прядет кудель, которая у нее на колочек под потолком приткнута.

Посмотрел на нее старик одним глазком и говорит:

– А ведь это ты, тетка, должно быть, и не ложилась.

А Маланья отвечает:

– Да мне, Живая Душа, и не хотелось.

Старик покачал головой и говорит:

– Ну-ну-ну! Водил, водил меня Господь долго по свету; думал я, что позабыл Он меня и покинул, а Он привел меня в отрадное место и сподобил узреть любовь чистую. Скажи теперь мне за то в одно слово, что у тебя есть в желании – я тебе то у Бога и выпрошу.

А Маланья говорит:

– Что мне недостает? Я и так всегда радостна, а желаю только, чтобы смерть моего порога не переступала, а если придет, так чтобы за дверью присохла.

Старик отвечает:

– Что ж, так и будет.

Ушел старик, а смерть вот же тут и жалуется; наряжена богатой казачкой в парчовом шугае²² с золотой пикой, юбка штофная, на боку – стальная коса на золотой цепочке, чеканной, на манер мертвых костей человеческих; вся рожа накрашена, черные зубы во рту белым платочком заслоняет и в избу просится.

– Покажи, – говорит, – мне детушек-голубятушек, я им принесла по медовому груздочку и по точеному яблочку.

А Маланья как взглянула на нее, так и признала ее, что это смерть, – вскричала ей:

– Хорошо им со мной и без яблочек, а тебя бы лучше не было, и присохни ты на одном месте.

Та и присохла и не может оторвать ног от того места, где пристала, а Маланья ее сухим хворостом заслонила, чтобы не видать ее было.

И славно бы дело сделалось, да пошли от селения ужасные стоны и слезы: сильный слабого теснит и бьет без милости, и нет на злодея в жестоком сердце его никакой угрозы; и как были люди жестоки, то стали еще жесточе того; и приходят к Маланье всякий день столько несчастных, сколько она всю свою жизнь не видала; и она уже не может помогать им, и слышит, как они плачут и смерть кличут: «Смертушка-матушка, где ты заваялась! Зачем мир покинула! Приди, укрой нас от злодеев наших немилостивых – без тебя они зазнались

²² Шугай – короткополая кофта, отороченная лентой.

без памяти!»

Тут Маланья ума хватилась.

– Это я, – говорит, – дура, все лихо наделала, захотела поправлять дела Божии – чему быть, а чему не быть сотворенному. И завяла смерть, а заслонена у меня кучкой хвороста.

– Ах, спусти ее, матушка, умиосердися! Ведь вот уже сто лет у нас ни одних похорон не было, и обессердечили люди жестокие, а мы состарились, измаялись. Спусти ее и их убрать от больших грехов, и нас – от страдания.

И пошла Маланья, развалила хворост, а смерть-то так уж не румяной казачкой глядит, а как паутиночка, и коса у ней вся заржавела.

– Иди, куда тебя Бог послал! – сказала Маланья смерти: и та колыхнулась и поплыла к селу паутинкою по сжатому полю, и послышался вскоре погребальный звон, и перекрестились бедняки, и встрепенулись богатые мужики.

– Мы, было, думали, она навсегда кончилась, а вот она, как змея, из хворосту выскочила. Нельзя век лютовать и властвовать.

А убогие крестились и сами в гробы ложились.

– Устали, – говорят, – наши косточки – насилу дождались земли горсточки.

И обошла смерть все село за лесом и убрала все, что было нужно убрать, а с другими вместе и Ерашку, и Живулечку, потому что было уже и безрукому, и безногой более чем по сту лет, а Маланья осталась жить и все живет, как прежде

жила, и все то же делает, что и прежде делала, и все те умерли, кто звал ее «Маланьей – головой бараньей», и сама она это имя позабыла. И как смерть обойдет весь свет да придет к ней и спросит:

– Как тебя звать?

Она старается вспомнить, никак не может и говорит:

– Не знаю – верно, мое имя переменялось. Смерть стала вопрошать: «Как имя этой женщины?» А ей в ответ и упал с неба белый, как снег, чистый камень, как сердце обточенный, и на нем огнистым золотом горит имя: «Любовь».

Увидела это смерть и сказала:

– Ты не моя – нет твоего имени в моем приказе: любовь не умирает; ты доживешь до тех пор, когда правда и милосердие встретятся, и волк ляжет с ягненком и не обидит его.

Левша

(Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе)

Глава I

Когда император Александр Павлович окончил Венский совет, то он захотел по всей Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметил, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть, — и чем-нибудь отведет.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался,

потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейхгаузы, оружейные и мыльнопильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, – Платов сказал себе:

«Ну, уж тут шабаш. До сих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам».



И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

– Так и так, завтра мы с тобой идем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, – говорят, – такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабова-тый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки²³, дерябнуть хороший стакан, на дорожный складень Богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

²³ Кизлярки. (Прим. автора.)

Глава II

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь из русских никого не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание – подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и наконец в самом главном зале разные громадные бюстры, и посредине под балдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на что смотрит, а тот идет глаза опустивши, как будто ничего не видит, – только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

– Как это возможно – отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

– Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали.

Государь говорит:

– Это безрассудок.

Платов отвечает:

– Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к Аболону полведерскому и берут у него из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю.

– Вот, – говорят, – какая у нас производительность, – и подают ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

– Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства, – ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Кандеабрии из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может. Взахался ужасно.

– Ах, ах, ах! – говорит, – как это так... как это можно так тонко сделать! – И к Платову по-русски оборачивается и говорит: – Вот если бы у меня был хоть один такой мастер в России, так я этим весьма счастлив был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда оружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повер-

нул два – замок и вынул. Платов показывает государю собачку, а там на самом сгибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг друга поталкивают:

– Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

– Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двусестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? – думал Платов, – совсем того не понимаю», – и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

Глава III

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему говорит:

– Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

– Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане все государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел-смотрел да вдруг говорит:

– А покажите-ка нам ваших заводов сахар *молво*?

А англичане и не знают: что это такое *молво*. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

– Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А государь его за рукав дернул и тихо сказал:

– Пожалуйста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю

кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазом видеть невозможно, а угрызения ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучела и выходят вон, а Платов думает себе:

«Вот, слава Богу, все благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

– Что это такое значит? – спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

– Это вашему величеству наше покорное поднесение.

– Что же это?

– А вот, – говорят, – извольте видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно – лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

– Извольте пальчик послунить и ее на ладошку взять.

– На что же мне эта соринка?

– Это, – отвечают, – не соринка, а нимфозория.

– Живая она?

– Никак нет, – отвечают, – не живая, а из чистой из аглиц-

кой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

— А где же ключик?

А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же, — государь говорит, — я его не вижу?

— Потому, — отвечают, — что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте, — говорят, — взять ее на ладошечку — у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет тансе...

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое тансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кавриль станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами, — хотят серебряными пяточками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и

другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли: без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха – и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что говорит:

– Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр, говорит, всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:

– Оставь, пожалуйста, это не твое дело – не порть мне политики. У них свой обычай. – И спрашивает: – Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот орешек, а вместе с нею и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкапу, которая вся выстлана перламутром и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего про-

тив слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же, говорит, принадлежит, а денег вы и без этого у нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия, и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота²⁴. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут – все могут сделать, но только им полезного учения нет. И представлял государю, что аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собой имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фут Жукова табак входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете

²⁴ «Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея Федотова-Чеховского, который после того именовался «духовником его величества» и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то Федотов-Чеховский, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». (Прим. автора.)

молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

– Ты, – говорит, – к духовной беседе не воздержен и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в горле ко-
поть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушет-
ку, да так все и лежал да покуривал Жуков табак без пере-
стачи.

Глава IV

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елизавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

– Мое, – говорит, – теперь дело вдовье, и мне теперь никакие забавы не обольстительны, – а, вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми другими драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

– Что это за пуляковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

– Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптечки хими-

ка, который на самых мелких весах яд взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил:

– Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа это не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и списки, – но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать, – никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услышал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

– Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

– Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем, что хочу, и всем доволен, а я, – говорит, – пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскиали: это, – говорит, – так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии, – и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции

делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

– Это, – говорит, – ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или Сестербеке, – тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали, – не могут ли наши мастера сего превзойти, чтоб англичане над русскими не предвозвышались.



Государь Николай Петрович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил,

он и ответил Платонову:

– Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

Глава V

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

– Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

– Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее, – говорят, – надо взяться подумавши и с Божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые принял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать, – остановись и спыслай за нами: мы к той поре, Бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно, что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал, но туляки ему в хитрости нимало не уступали, потому-то имели

они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:

– Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на Бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

– Ну, нечего делать, пусть, – говорит, – будет по-вашему; я знаю, какие вы, ну, иначе, делать нечего, – я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортить, да не долго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу, – тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

– Тонкой работы, – говорят, – мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад воротишься, будет тебе *что-нибудь* государеву великолепию достойное представить.

А что *именно*, это так-таки и не сказали.

Глава VI

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветоваться там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не позволяли тульским мастерам сходить в три недельки пешком в Киев да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего... «два девяносто верст», а святых угодников и там почиует немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орел до Киева снова еще добрых пять сот верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнешь — долго еще будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед

Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшею им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

Глава VII

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон: они не только мастера петь с вавилонами, но и знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большому служению и пойдет в монашество, то таковые слывут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что туляки – народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверное, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направляясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и престрашного» – святитель Мир-Ликийских изображен на

ней «в рост», весь одет в сребропозлащенной одеждой, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой меч – «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в одном домике к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют – ничего не известно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не рассказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются и даже чем питаются – неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит, – не выскочут ли в перепуге и не объявятся ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров: один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

– Горите себе, а нам некогда, – и опять свою щипаную

голову спрятал, ставни захлопнул и за свое дело принялся.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

Глава VIII

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою пнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни в одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возвратятся.

Так они в Тулу прикатили, – тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которую должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения

ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрепит – все ему еще не скоро показывается.

Так в тогдaшнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

Глава IX

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики – те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалились, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас же без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалились, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

– Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще этакою спиралью ошибать смее! Или в вас после этого Бога нет!

А те отвечают:

– Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как за-

бьем, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

– Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

– Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки на кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

Глава X

Свистовые побежали к Платову и говорят:

– Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

– Готов ли?

– Все, – отвечают, – готово.

– Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик и фореитор на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, – видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме ее ничего больше нет.

Платов говорит:

– Это что же такое? А где же ваша работа, которую вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

– Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

– В чем же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

– Зачем это объяснять? Все здесь в вашем виду, – и преду-

смастривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

— Где ключ от блохи?

— А тут же, — отвечают. — Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые: ловил-ловил, — никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

— Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

— Напрасно так нас обижаете, — мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усомнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны, — мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте государю отвезти — он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыжение.

А Платов крикнул:

— Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстануся, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток косого левшу, так что у того все крючки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

– Сиди, – говорит, – здесь до самого Петербурга вроде пубеля, – ты мне за всех ответишь. А вы, – говорит свистовым, – теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак – такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся – и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

– Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони – все враз заработало, и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскаавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

Глава XI

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный – ничего не забывал. Платов знал, что он непременно о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее сзади за печкой и поставил. Спрятавши шкатулочку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответить, а если не заговорит, то промолчать; шкатулочку кабинетному камердинеру велел спрятать, а тульского левшу в крепостной каземат без срока посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

– А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечает в том роде, как ему дело казалось.

– Нимфозория, – говорит, – ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад принес, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь говорил:

– Ты – старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

– Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

Глава XII

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, – а в нем блоха лежит, как прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

– Что за лихо! – Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

– У тебя на руках персты тонкие – возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

– Ах, они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

– У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

– Это за то, – говорит Платов, – что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

– Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:

– Я тебе, – говорит, – такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого Царя Благая Мати, Пречистая и Чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов, и сейчас его из дворца вон погонят, – потому они его терпеть не могли за храбрость.

Глава XIII

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию говорит:

– Я знаю, что мои русские люди меня не обманут, – и приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, – словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

– Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

– Его бы приодеть надо – он в чем был взят, и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

– Ничего – ввести как он есть.

Платов говорит:

– Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государя отвечай.

А левша отвечает:

– Что ж, такой и пойду, и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегива-

ются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? — думает. — Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так, и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрость, — пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

— Мы, — говорит, — вот как клали. — И положил блоху под мелкоскоп. — Смотри, — говорит, — сам — ничего не видно.

Левша отвечает:

— Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь спросил:

– А как же надо?

– Надо, – говорит, – всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

– Помилуй, скажи, – говорит государь, – это уже очень сильно мелко!

– А что же делать, – отвечает левша, – если только так нашу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял – взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

– Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

Глава XIV

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

– Если бы, – говорит, – был лучший мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, – говорит, – увидеть, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

– И твое имя тут есть? – спросил государь.

– Никак нет, – отвечает левша, – моего одного и нет.

– Почему же?

– А потому, – говорит, – что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, – там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

– Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

– Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, увидя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

– Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.

Левша отвечает:

– Бог простит, – это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию – вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился, и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковы у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил:

– Пусть, – говорит, – над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал – прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Гуляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манерам обформировали, напоили на дороге чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

Глава XV

Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по иностранному: *«Ай люли – се тре жули»*.

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал служающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглицки спросить – не умеет. Но потом догадался: опять по столу перстом постучит да в рот себе покажет, – англичане догадываются и подают, только не всегда то, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне, – он говорит: «Это я не знаю, что бы такое можно есть», – и кушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая – вроде как буд-

то купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас же в публикейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветой вышел.

– А самого этого мастера, – говорят, – мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как равно-го себе – за руки. «Камрад, – говорят, – камрад – хороший мастер, – разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарочку, а он с первым пить не стал: думает, – может быть, отравить с досады хотите.

– Нет, – говорит, – это не порядок: и в Польше нет хозяина больше, – сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левою рукою крестится, и спрашивают у курьера:

– Что он – лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

– Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

– А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

– Он – левша и все левой рукой делает.

Англичане еще больше стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходились, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освеживши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

– Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

– Это удивительно.

А левша им отвечает:

– У нас это так повсеместно.

– А что же это, – спрашивают, – за книга в России Полусонник?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.